

# В И ЛЕНИН

---

ПОЛНАЯ  
БИОГРАФИЯ

ВЛАДЛЕН ЛОГИНОВ



Владлен Логинов

**В.И. Ленин. Полная биография**

«Алисторус»

2018

УДК 82-94  
ББК 63.3

**Логинов В. Т.**

В.И. Ленин. Полная биография / В. Т. Логинов — «Алисторус»,  
2018

ISBN 978-5-907024-57-1

Владлен Логинов – крупнейший российский исследователь жизни и деятельности В.И. Ленина. В данном издании впервые приводится написанная Владленом Логиновым полная биография Ленина от рождения до смерти. В первой части рассказывается о молодых годах Владимира Ульянова, его семье, родственниках, характере, становлении как личности, выборе жизненного пути; вторая часть посвящена революции 1917 года и роли в ней Ленина, которого автор показывает жестким прагматиком и волевым руководителем; в третьей части показываются последние годы В.И. Ленина, создание СССР и судьба ленинского политического завещания. Книга наполнена огромным количеством фактического материала, в том числе малоизвестного, и в то же время отличается хорошим стилем изложения, что делает ее доступной для самого широкого круга читателей.

УДК 82-94  
ББК 63.3

ISBN 978-5-907024-57-1

© Логинов В. Т., 2018  
© Алисторус, 2018

# Содержание

Книга 1	6
Глава 1	6
Родословное дерево	6
«Шестидесятники»	12
Симбирск	17
Гимназия	24
1 марта 1881 года	30
Старший сын в доме	35
Аттестат зрелости	42
Глава 2	48
Казань	48
Кокушкино	51
«Мутный доклад»	56
Самара	62
Голод	69
Конец ознакомительного фрагмента.	75

**Владлен Логинов**  
**В.И. Ленин. Полная биография**

© Логинов В.Т., 2018

© ООО «Издательство Родина», 2018

# **Книга 1**

## **Как стать вождем**

### **Глава 1**

#### **Начало пути**

#### **Родословное дерево**

«Биографическая хроника В.И. Ленина» начинается с записи:

«Апрель, 10 (22).

Родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

Отец Владимира Ильича – Илья Николаевич Ульянов был в то время инспектором, а затем – директором народных училищ Симбирской губернии. Он происходил из бедных мещан города Астрахани. Его отец ранее был крепостным крестьянином.

Мать Ленина – Мария Александровна была дочерью врача А.Д. Бланка».

Любопытно, что сам Ленин многих деталей своей родословной не знал. В их семье, как и в семьях других «разночинцев», было как-то не принято копаться в своих «генеалогических корнях». Это уж потом, после смерти Владимира Ильича, когда интерес к подобного рода проблемам стал расти, этими изысканиями занялись его сестры. Поэтому, когда в 1922 году Ленин получил подробную анкету партпереписи, на вопрос о роде занятий деда с отцовской стороны искренне ответил: «Не знаю».

Дед, прадед и прапрадед Ленина действительно были крепостными. Прапрадед – Никита Григорьевич Ульянин – родился в 1711 году. По ревизской сказке 1782 года он с семьей младшего сына Феофана был записан как дворовый человек помещицы села Андросова Сергачской округи Нижегородского наместничества Марфы Семеновны Мякининой.

По той же ревизии его старший сын Василий Никитич Ульянин, 1733 года рождения, с женой Анной Семионовной и детьми Самойлой, Порфирием и Николаем проживали там же, но числились дворовыми корнета Степана Михайловича Брехова.

По ревизии 1795 года дед Ленина Николай Васильевич, 25 лет, холостой, поначалу проживал с матерью и братьями в том же селе, но значились они уже дворовыми людьми подпрапорщика Михаила Степановича Брехова.

Значиться он, конечно, значился, но в селе его уже не было...

В Астраханском архиве хранится документ – «Списки именные ожидаемых к причислению зашедших беглых из разных губерний помещичьих крестьян», где под номером 223 записан «Николай Васильев сын Ульянин... Нижегородской губернии, Сергачской округи, села Андросова, помещика Степана Михайловича Брехова крестьянин. Отлучился в 1791 году». Беглым он был или отпущенным на оброк и выкупившимся – точно неизвестно, но в 1799 году в Астрахани Николая Васильевича перевели в разряд государственных крестьян, а в 1808 году приняли в мещанское сословие, в цех ремесленников-портных.



Владимир Ульянов в молодости

Сохранились и его приметы: «Ростом 2-х аршин и 6 вершков (168,9 см. – *В.Л.*), волосы на голове, усы и борода светло-русые, лицом бел, чист, глаза карие». Сопоставьте эти приметы с полицейской справкой о Ленине, и вы увидите – «в кого пошел» внук.

Избавившись от крепостной зависимости и став свободным человеком, Николай Васильевич сменил фамилию «Ульянин» на «Ульянинов», а затем «Ульянов». Вскоре он женился на дочери астраханского мещанина Алексея Лукьяновича Смирнова – Анне Алексеевне, которая родилась в 1788 году и была моложе мужа на 18 лет.

Исходя из некоторых архивных документов, писательница Мариэтта Шагинян выдвинула версию, согласно которой Анна Алексеевна – не родная дочь Смирнова, а крещеная калмычка, вызволенная им из рабства и удочеренная якобы лишь в марте 1825 года. Бесспорных доказательств этой версии нет, тем более что уже в 1812 году от этого брака родился сын Александр, умерший 4 месяцев от роду, в 1819 году на свет появился сын Василий, в 1821-м – дочь Мария, в 1823-м – Феодосия и, наконец, в июле 1831 года, когда отцу было уже за 60, – сын Илья.

Поселились они в Астрахани, у Волги, на так называемой Косе, на бывшей Казачьей улице в двухэтажном доме с кирпичным низом и деревянным верхом. Вместе с ними всю жизнь проживала и сестра Анны Алексеевны – Татьяна Алексеевна Смирнова, которую считали «крестной». И когда в 1837 году составляли списки рекрутского набора, мещанин Николай Ульянов и сыновья его Василий и Илья значились в них – «*коренного российского происхождения*».

После смерти Николая Васильевича заботы по содержанию семьи и воспитанию детей легли на старшего сына Василия Николаевича. Работая в ту пору приказчиком известной в Астрахани фирмы «Братья Сапожниковы» и не обзаводясь собственной семьей, он сумел обеспечить в доме не только достаток, но и дал младшему Илье образование.

В 1850 году Илья Николаевич окончил с серебряной медалью Астраханскую гимназию, поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а в 1854 году успешно закончил его, получив звание «кандидат физико-математических наук» и право преподавания в средних учебных заведениях. И хотя ему было предложено остаться при кафедре для «усовершенствования в научной работе» – и на этом настаивал знаменитый математик Н.И. Лобачевский, – Илья Николаевич предпочел «карьеру» учителя.

Первым местом его работы – с 7 мая 1855 года – стал Дворянский институт в Пензе. Служба шла успешно. Его утвердили в должности старшего преподавателя математики старших классов, а в 1860 году наградили медалью «В память войны 1853–1856 годов» и дали чин титулярного советника.

В июле 1860 года сюда же на должность инспектора Дворянского института приехал Иван Дмитриевич Веретенников. Илья Николаевич подружился с ним и его женой, и в том же году Анна Александровна Веретенникова (урожденная Бланк) познакомила его с Марией Александровной Бланк, которая на зиму приезжала к сестре в гости. Илья Николаевич стал помогать Марии Александровне в подготовке к экзамену на звание учительницы, а она ему – в разговорном английском. Молодые люди полюбили друг друга, и весной 1863 года состоялась помолвка.

15 июля того же года, после успешной сдачи экстерном экзаменов при Самарской мужской гимназии, «дочь надворного советника девица Мария Бланк» получила звание учительницы начальных классов «с правом преподавания Закона Божьего, русского языка, арифметики, немецкого и французского языка». А в августе сыграли свадьбу, и «девица Мария Бланк» стала женой надворного советника – чин этот ему пожаловали тоже в июле 1863 года – Ильи Николаевича Ульянова.

Родословную семьи Бланк исследовали А.И. Ульянова, М.И. Ульянова, а в недавние годы М.С. Шагинян, А.Г. Петров, М.Г. Штейн, В.В. Цаплин и другие. Анна Ильинична рассказывает: «Старшие не могли нам выяснить этого. Фамилия казалась нам французского корня, но никаких данных о таком происхождении не было. У меня лично довольно давно стала являться мысль о возможности еврейского происхождения, на что наталкивало, главным образом, сообщение матери, что дед родился в Житомире – известном еврейском центре. Бабушка – мать матери – родилась в Петербурге и была по происхождению немкой из Риги. Но в то время как с родными по матери у мамы и ее сестер связи поддерживались довольно долго, о родных ее отца, А.Д. Бланк, никто не слышал. Он являлся как бы отрезанным ломтем, что наводило меня также на мысль о его еврейском происхождении. Никаких рассказов деда о его детстве или юношестве у его дочерей не сохранилось в памяти»<sup>1</sup>.

О результатах розысков, подтвердивших ее предположение, А.И. Ульянова сообщила Сталину в 1932 и 1934 годах. «Факт нашего происхождения, предполагавшийся мною и раньше, – писала она, – не был известен при его [Ленина] жизни... Я не знаю, какие могут быть у нас, коммунистов, мотивы для замолчания этого факта»<sup>2</sup>.

«Молчать о нем абсолютно», – таков был категорический ответ Сталина. Да и сестра ее Мария Ильинична тоже полагала, что факт этот «пусть будет известен когда-нибудь через сто лет»<sup>3</sup>.

Сто лет еще не прошло, но уже опубликованные данные позволяют с достаточной уверенностью прочертить родословную семьи Бланков<sup>4</sup>.

Прадед, Моше Ицкович Бланк, родился, видимо, в 1763 году. Первое упоминание о нем содержится в ревизии 1795 года, где среди мещан города Старокопанинского Волынской губернии под номером 394 записан Мойшка Бланк. Откуда появился он в здешних местах – неизвестно. Впрочем.

Несколько лет тому назад известный библиограф Майя Дворкина ввела в научный оборот любопытный факт<sup>5</sup>. Где-то в середине 20-х годов архивист Юлиан Григорьевич Оксман, занимавшийся по заданию директора Ленинской библиотеки Владимира Ивановича Невского изучением родословной Ленина, обнаружил прошение одной из еврейских общин Минской губернии, относящееся якобы к началу XIX века, об освобождении от подати некоего мальчика, ибо он является «незаконным сыном крупного минского чиновника», а посему, мол, община платить за него не должна. Фамилия мальчика была – Бланк.



По словам Оксмана, Невский повез его к Каменеву, а затем втроем они явились к Бухарину. Показывая документ, Каменев буркнул: «Я всегда так думал». На что Бухарин ему ответил: «Что вы думаете – не важно, а вот что будем делать?» С Оксмана взяли слово, что он никому не скажет о находке. И с тех пор этого документа никто не видел.

Итак, документ обнаружен где-то около 1925 года. Спустя 45 лет, в 1970 году, Оксман все-таки рассказал о нем итальянскому историку Франко Вентури. При этом присутствовал В.В. Пугачев, который спустя 25 лет, в 1995 году, опубликовал в Саратове свой рассказ о данном факте<sup>6</sup>.

Если Пугачев действительно запомнил дату документа точно, то никакого отношения к Моше Бланку вся эта история не имеет. В начале XIX века он был уже не мальчиком, а вполне зрелым мужем. Но надо учитывать и возможность того, что в многократный пересказ вкралась хронологическая неточность и мы имеем дело с «испорченным телефоном».

Так или иначе, но появился Моше Бланк в Староконстантинове, будучи уже взрослым, и в 1793 году женился на местной 29-летней девице Марьям (Марем) Фроимович. Из последующих ревизий видно, что Моше Бланк читал как по-еврейски, так и по-русски, имел собственный дом, занимался торговлей и плюс к тому у местечка Рогачево арендовал землю, которую засеивал цикорием.

В 1794 году у него родился сын Аба (Абель), а в 1799-м – второй сын Сруль (Израиль). В.В. Цаплин отмечает, что с самого начала у М.И. Бланка не сложились отношения с местной еврейской общиной. Он был «человеком, который не хотел или, может быть, не умел находить общий язык со своими соплеменниками»<sup>7</sup>. Иными словами, община его просто возненавидела. И после того как в 1808 году во время пожара, а возможно и поджога, дом Бланка сгорел, семья переехала в Житомир.

Много лет спустя, в сентябре 1846 года, М.И. Бланк написал письмо императору Николаю I, из которого видно, что уже «40 лет назад» он «отрекся от евреев», но из-за «чрезмерно набожной жены», скончавшейся в 1834 году, принял христианство и получил имя Дмитрия лишь 1 января 1835 года.

Однако поводом для письма стало иное: сохраняя неприязнь к своим соплеменникам, Дмитрий (Мойша) Бланк предлагал – в целях ассимиляции евреев – запретить им ношение национальной одежды, а главное – обязать их молиться в синагогах за российского императора и императорскую фамилию.

Любопытно, что в октябре 1846 года письмо это было доложено Николаю I, и он полностью согласился с предложениями «крещеного еврея Бланка», в результате чего в 1850 году запретили ношение национальной одежды, а в 1854 году ввели соответствующий текст молитвы. М.Г. Штейн, собравший и тщательно проанализировавший наиболее полные данные о родословной Бланков, справедливо заметил, что по неприязни к своему народу Дмитрия Бланка «можно сравнить, пожалуй, только с другим крещеным евреем – одним из основателей и руководителей Московского Союза русского народа В.А. Грингмутом...».

О том, что Бланк решил порвать с еврейской общиной задолго до своего крещения, свидетельствовало и другое. Оба его сына, Абель и Израиль, как и отец, тоже умели читать по-русски, и когда в 1816 году в Житомире открылось уездное (поветовое) училище, они были зачислены в него и успешно окончили. С точки зрения верующих евреев, это было кощунство. И все-таки принадлежность к иудейскому вероисповеданию обрекала их на прозябание в границах «черты оседлости». И лишь событие, случившееся весной 1820 года, круто изменило судьбу молодых людей.

В апреле в Житомир прибыл в служебную командировку «высокий чин» – правитель дел так называемого «Еврейского комитета» сенатор и поэт Дмитрий Осипович Баранов. Каким-то образом Бланку удалось встретиться с ним, и он попросил сенатора оказать содействие сыновьям при поступлении в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Баранов евреям

отноудь не симпатизировал, но довольно редкое в то время обращение двух «заблудших душ» в христианство было, по его мнению, делом благим, и он согласился.

Братья сразу же поехали в Петербург и подали прошение на имя митрополита Новгородского, Санкт-Петербургского, Эстляндского и Финляндского Михаила. «Поселясь ныне на жительство в С.-Петербурге, – писали они, – и имея всегдашнее обращение с христианами, греко-российскую религию исповедающими, мы желаем ныне принять оную»<sup>8</sup>.

Ходатайство удовлетворили, и уже 25 мая 1820 года священник церкви Преподобного Сампсония в Санкт-Петербурге Федор Барсов обоих братьев «крещением просветил». Абель стал Дмитрием Дмитриевичем, а Израиль – Александром Дмитриевичем. Новое имя он получил в честь своего восприемника графа Александра Апраксина, а отчество – в честь восприемника Абеля сенатора Дмитрия Баранова. А 31 июля того же года, по указанию министра просвещения князя Голицына, братьев определили «воспитанниками Медико-хирургической академии», которую они и закончили в 1824 году, удостоившись ученого звания «лекарей 2-го отделения» и презента в виде карманного набора хирургических инструментов.

Дмитрий Бланк остался в столице полицейским врачом, а первым местом работы Александра с августа 1824 года стала должность уездного врача в городе Поречье Смоленской губернии. Но в октябре 1825 года и он вернулся в Петербург, где был зачислен, как и его брат, в штат столичной полиции в качестве врача. В 1828 году А.Д. Бланка произвели в штаб-лекари. Пора было думать и о женитьбе...

Его крестный отец граф Александр Апраксин был в то время чиновником особых поручений министерства финансов. Так что Александр Бланк, несмотря на происхождение, вполне мог рассчитывать на приличную партию. Видимо, в доме другого благодетеля – сенатора Дмитрия Баранова, увлекавшегося поэзией и шахматами, – где бывал Пушкин и собирался чуть ли не весь «просвещенный Петербург», он познакомился с братьями Грошопфами и был принят у них в доме.

Глава этой весьма солидной семьи Иван Федорович (Иоганн Готтлиб) Грошопф – прибалтийский немец, среди предков которого, происходивших из Северной Германии, был Э. Курциус – домашний учитель кайзера Фридриха III, а среди дальних потомков – генерал-фельдмаршал вермахта В. Модель<sup>9</sup>.

Работал Иван Федорович консулентом Государственной Юстицколлегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел и дослужился до чина губернского секретаря. Его супруга Анна Карловна – в девичестве Эстедт – была шведкой, лютеранкой, родители которой являлись состоятельными купцами и жили сначала в шведском городе Упсала, а потом переехали в Петербург. Детей в семье Грошопф было восемь: сыновья – Иоганн, служивший в русской армии, Карл – вице-директор в департаменте внешней торговли министерства финансов, Густав, заведовавший рижской таможней, и пять дочерей – Александра, Анна, Екатерина (по мужу – фон Эссен), Каролина (по мужу – Биуберг) и младшая Амалия.

Познакомившись с этой семьей, А.Д. Бланк сделал предложение Анне Ивановне. Незадолго до этого она окончила пансион, владела несколькими языками и прекрасно играла на клавикордах. Именно в ее исполнении Александр Бланк впервые услышал полюбившуюся ему «Лунную сонату» Бетховена.

Согласие на брак было получено, и уже 9 сентября 1830 года родился сын Дмитрий (покончил с собой в 1850 году 19 лет от роду, будучи студентом Казанского университета), 30 августа 1831 года – дочь Анна (по мужу – Веретенникова), 20 августа 1832-го – Любовь (по первому мужу – Ардашева, а по второму – Пономарева), 9 января 1834-го – Екатерина (по первому мужу – Алехина, по второму – Залежская), 22 февраля 1835-го – Мария (по мужу – Ульянова) и 24 июня 1836-го – Софья (по мужу – Лаврова).

Дела у Александра Дмитриевича поначалу складывались неплохо. Как полицейский врач он получал тысячу рублей в год. За «расторопность и усердие» не раз удостоивался благодарно-

стей. Но в июне 1831 года во время «холерных беспорядков» в столице взбунтовавшейся толпой был зверски убит его брат Дмитрий, дежуривший в Центральной холерной больнице. Эта смерть настолько потрясла А.Д. Бланка, что он уволился из полиции и более года не работал. Лишь в апреле 1833 года он вновь поступил на службу ординатором в больницу Св. Марии Магдалины, предназначенную для бедноты заречных районов Петербурга. Между прочим, именно здесь в 1838 году у него лечился Тарас Шевченко. Одновременно, с мая 1833 года по апрель 1837 года, А.Д. Бланк служил и в Морском ведомстве. В 1837 году после сдачи экзаменов он был признан инспектором врачебной управы, а в 1838-м – медико-хирургом.

Расширялась и частная практика А.Д. Бланка. Среди его пациентов появились представители высшей знати. Это позволило ему переехать в приличную квартиру во флигеле одного из роскошных особняков на Английской набережной, принадлежавшего лейб-медику императора и президенту Медико-хирургической академии баронету Якову Виллие. Именно здесь в 1835 году родилась М.А. Бланк. Крестным отцом Машеньки стал их сосед – адъютант великого князя Михаила Павловича, а с 1833 года – шталмейстер императорского двора Иван Дмитриевич Чертков.

Слухи и сплетни о близости Марии Александровны ко двору породили в последние годы обширную литературу, в которой «маститые» авторы расписывали историю о том, как красавица Машенька стала любовницей императора Александра III (по другим версиям – великого князя), как родила она от государя сына Александра, после чего и была выдворена со всем семейством из столицы в Казанскую губернию. Для читателей, уже привыкших к пошлости, звучит все это вполне романтично и убедительно. Одна беда – Машенька покинула Петербург, когда ей исполнилось *шесть* лет. И совсем по другим обстоятельствам.

В 1840 году Анна Ивановна тяжело заболела, умерла и была похоронена в Петербурге на Смоленском евангелическом кладбище. А заботу о детях целиком взяла на себя ее сестра Екатерина Ивановна фон Эссен, овдовевшая в том же году. Александр Дмитриевич, видимо, и прежде симпатизировал ей. Не случайно родившуюся в 1833 году дочь он назвал Екатериной. После смерти жены они сближаются еще больше, и в апреле 1841 года А.Д. Бланк решает вступить с Екатериной Ивановной в законный брак. Однако подобные браки – с крестной матерью его дочерей и родной сестрой покойной супруги – закон не разрешал. И Екатерина Ивановна фон Эссен становится его гражданской женой.

В том же апреле 1841 года они покидают столицу и всем семейством переезжают в Пермь, где Александр Дмитриевич получил должность инспектора Пермской врачебной управы и врача Пермской гимназии. Именно здесь он познакомился с учителем латыни И.Д. Веретенниковым, ставшим в 1850 году мужем его старшей дочери Анны, и преподавателем математики А.А. Залежским, взявшим в жены Екатерину Бланк. Но это случилось позднее, а в марте 1843 года А.Д. Бланк стал заведовать госпиталем Юговского казенного завода, в сентябре 1845 года был назначен врачом Златоустовской оружейной фабрики, а с 21 мая 1846 года занял должность медицинского инспектора Златоустовских госпиталей, где и закончилась его служба<sup>10</sup>.

В историю российской медицины А.Д. Бланк вошел как один из пионеров отечественной бальнеологии – лечения минеральными водами. На пенсию он вышел в конце 1847 года с должности доктора Златоустовской оружейной фабрики, дослужился до чина надворного советника, дававшего право на дворянство, и уехал с Урала в Казанскую губернию, где в 1848 году в Лаишевском уезде на его сбережения, а в основном на средства Екатерины Ивановны, было куплено имение Кокушкино с 462 десятинами земли (503,6 га), водяной мельницей и 39 крепостными крестьянами<sup>11</sup>. 4 августа 1859 года Сенат утвердил А.Д. Бланка и его детей в потомственном дворянстве, и они были занесены в книгу Казанского дворянского депутатского собрания.

Вот так Мария Александровна Бланк оказалась в Казани, а затем в Пензе, где познакомилась с Ильей Николаевичем Ульяновым...

Их свадьбу, как до этого и свадьбы других сестер Бланк, сыграли в Кокушкине 25 августа 1863 года. Но «медовый месяц» оказался слишком коротким. 7 сентября там же, в Кокушкине, скончалась крестная мать и воспитательница Марии Александровны Екатерина Ивановна фон Эссен. Лишь после ее похорон молодожены 22 сентября уехали в Нижний Новгород, куда Илья Николаевич получил назначение старшим учителем математики и физики мужской гимназии.

## «Шестидесятники»

Все-таки неблагодарное это занятие – собирать по веточкам «генеалогическое древо». Удовлетворяя законное любопытство, оно мало что объясняет.

И в самом деле, протягивая через столетия родственную нить, выводя одно поколение из другого, оно как бы вырывает судьбу каждого из контекста своего времени. И переносит центр тяжести на факторы чуть ли не генетические. А ведь конкретные обстоятельства и события того времени влияли на поступки, создавали альтернативы выбора пути, формировали образ жизни значительно сильнее, нежели кровнородственное наследство.

19 июля 1831 года, когда протоиерей Николай Ливанов в астраханской церкви Николы Гостинного крестил Илию – второго сына Николая Ульянова и его законной жены Анны, – в этот год император Николай I пожелал, «чтобы крепостные дети отнюдь не были отдаваемы для воспитания в такие учебные заведения, в коих они могли бы получить образование, превышающее состояние их..

Когда же Илья Николаевич все-таки закончил гимназию и ее директор А.П. Аристов 10 июня 1850 года обратился к попечителю Казанского учебного округа с ходатайством об университетской стипендии для «даровитого мальчика», ему ответили, что для стипендии «происходящему из податного состояния» и «принадлежащего к мещанскому сословию нет достаточного основания». И только помощь брата позволила И.Н. Ульянову закончить университет<sup>12</sup>.

18 февраля 1855 года император Николай I скончался. Профессор МГУ историк С. Соловьев, шагая по арбатским переулкам, размышлял: «Я не был опечален смертью Николая, но в то же время чувствовалось не по себе, примешивалось беспокойство, опасение; что, если еще хуже будет?! Человека вывели из тюрьмы, хорошо, легко дышать свежим воздухом; но куда ведут? – может быть, в другую, еще худшую тюрьму?»

Этот безрадостный внутренний монолог прервал повстречавшийся коллега – профессор Т. Грановский. Первым словом Соловьева вместо приветствия было: «Умер». Грановский ответил: «Нет ничего удивительного, что он умер; удивительно, что мы с вами живы»<sup>13</sup>.

А.И. Герцен записал: «Свободной России мы не увидим. Мы умрем в снях, и это не от того, что при входе в хоромы стоят жандармы, а от того, что в наших жилах бродит кровь наших прадедов – сеченных кнутом и битых батогами, доносчиков Петра и Бирона, наших дедов-палачей, вроде Аракчеева и Магницкого, наших отцов, судивших декабристов, судивших Польшу, служивших в III отделении, забивавших в гроб солдат, засекавших в могилу крестьян. От того, что в жилах наших лидеров, наших журнальных заправил догнивает такая же гадкая кровь, благоприобретенная их отцами в передних, съезжих и канцеляриях»<sup>14</sup>.

На престол вззошел император Александр II... И Н.А. Добролюбов в «Оде на смерть Николая I» написал:

По неизменному природному закону,  
События идут обычной чередой:  
Один тиран исчез, другой надел корону,  
И тяготеет вновь тиранство над страной.

И вдруг в 1856 году для непосвященных как гром среди ясного неба – обращение Александра II к московскому генерал-губернатору:

«Я узнал, господа, что между вами разнеслись слухи о намерении моем уничтожить крепостное право. В отвращение разных неосновательных толков по предмету столь важному, я считаю нужным объявить вам, что я не имею намерения сделать это теперь. Но, конечно, господа, сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу»<sup>1</sup>.

А через шесть лет после восшествия на престол – после долгих обсуждений в дворянских комитетах, чиновничьих ведомствах и Государственном совете – 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. «Все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, – с удовлетворением заявил он, – сделано». 5 марта манифест был обнародован, и по всей России во всех церквях звонили колокола и с амвонов возносились молитвы в честь «царя-освободителя».

Мало кто устоял... Признавая заслуги Александра II, Герцен вспомнил библейские слова: «Ты победил, галилеянин!» Даже такой радикал, как Чернышевский, написал: «Уничтожение крепостного права благословляет времена Александра II славой, высочайшей в мире». Надо было время, чтобы осознать и оценить происходящее.

Реформа косвенно затронула и семью Ульяновых. Имение А.Д. Бланка, куда летом приезжали все его дочери с семьями, тоже имело крепостных. Но, по свидетельству Анны Ильиничны Ульяновой, ненависти к хозяевам тамошние крестьяне не испытывали. Наоборот, как врач, принимавший больных со всех окрестных сел, Александр Дмитриевич пользовался всеобщим уважением. «Кокушкино, – рассказывает Анна Ильинична, – было благоприобретенное имение, и поэтому между владельцами его и крепостными не могло быть тех отношений, которые складывались у родовитых помещиков, потомственно владевших крепостными душами»<sup>15</sup>.

После 1861 года реформы следовали одна за другой. Получили новый импульс для своего развития промышленность и сельское хозяйство. Появились невиданные ранее учреждения – суд присяжных, земства. К руководству образованием допустили общественность. Стали создаваться губернские и уездные училищные советы. Разрабатывались проекты массовой народной школы. А такие лучшие умы, как «отец русской педагогики» К.Д. Ушинский, уже стали мечтать о ликвидации в России неграмотности.

«...Вся Россия, – вспоминал великий бунтарь князь П.А. Кропоткин, – говорила об образовании. Любимыми темами для обсуждения в прессе, в кружках просвещенных людей и даже в великосветских гостиных стало невежество народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы преподавания, а как помочь всему этому, началось сильное движение для основания воскресных школ»<sup>16</sup>. Точное слово, характеризующее тогдашнее состояние умов, нашел поэт Тютчев: «Оттепель!»

Если попытаться вычленить некую общую идею, которая определяла умонастроения «шестидесятников», то таковой, видимо, следует признать идею «общего блага» как гармонии личных и общественных интересов. В конце 60-х ее наиболее полно сформулировал в «Исторических письмах» Петр Лавров.

«Ясно понятые интересы личности, – писал он, – требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов. Истинная общественная теория требует не *подчинения* общественного элемента личному и не *поглощения* личности обществом, а *слития* общественных и частных интересов. Личность должна развить в себе понимание *общественных* интересов, которые суть и *ее* интересы; она должна направлять свою деятельность на внесение истины

и справедливости в общественные формы, потому что это есть не какое-либо отвлеченное стремление, а самый близкий эгоистический *ее* интерес»<sup>17</sup>.

Именно убеждение в возможности торжества «истины и справедливости» питало социальный оптимизм «шестидесятников», их веру в силу просвещения и благие перемены.

Через всю эту полосу великих надежд прошел и Илья Николаевич Ульянов. В Пензе, где он работал с 1855 года, уже в ноябре 1860-го открыли воскресную школу – по общему счету всего лишь 59-ю в России. Ее учредили «для распространения грамотности в ремесленном и рабочем классе» и помимо русского языка и арифметики преподавали историю, географию и естественные науки. И вот, одновременно с работой в мужской и женской гимназиях, Илья Николаевич становится учителем и распорядителем и этой школы.

Но вслед за великими надеждами пришла и пора великих разочарований... История еще раз подтвердила, что во времена жестких правлений, когда даже малая надежда на послабление подавляется, неприятие режима, как правило, носит скрытый, латентный характер. Но когда «послабление» наступает, реформы уже не удовлетворяют слишком долго копившихся ожиданий, и тогда недовольство выплескивается наружу. Короче говоря, если при «Николае Палкине» никто и пикнуть не смел, то при «Александре Освободителе» ждать и терпеть никто уже не желал.

Первыми негативно оценили «Великую реформу» сами крестьяне. Они сочли себя обманутыми, и полоса бунтов прокатилась по России.

«При освобождении крестьян, – свидетельствует А.И. Ульянова, – дед советовал им пойти на выкуп, но они не послушали его совета, предпочитая дарственную землю. Мой отец И.Н. Ульянов рассказывал мне о том, как волновало дедушку принятое крестьянами решение, как он несколько раз выходил к крестьянам, убеждая их пойти на выкуп, но крестьяне, очевидно, как говорил мой отец, внимая распускаемым в то время слухам о том, что земля должна отойти вся бесплатно, не послушали его».

В Кокушкине обошлось. А вот в селе Бездна той же Казанской губернии уже в апреле 1861 года вспыхнули волнения, и, умиряя их, генерал граф Апраксин расстрелял около ста крестьян. Убитые и раненые были и в селах Черногай и Кандеевка Пензенской губернии, где войска также стреляли в крестьян, выступивших под лозунгом «Земля вся наша!».

В ответ – в университете и Духовной академии Казани – начались волнения студентов. На устроенной ими демонстративной панихиде по убиенным профессор истории Афанасий Щапов – он умрет в сибирской ссылке – сказал, что своим подвигом бездненские крестьяне разрушили предрассудок, будто русский народ «неспособен к инициативе политических движений»<sup>18</sup>.

Помимо репрессий, летом 1861 года правительство разрабатывает новые «Правила...», уничтожившие всякие университетские «вольности». Но осенью, с началом занятий, начинаются массовые стачки протеста и демонстрации в Петербургском и Московском университетах. Власти проводят повальные аресты, участников беспорядков бросают в Петропавловскую крепость, исключают из университетов, высылают в Сибирь.

«Куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. – пишет Герцен. – *В народ, к народу!* – вот ваше место, изгнанники науки, покажите, что из вас выйдут не *подьячие*, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского!»<sup>19</sup>

«*Народ царем обманут!*» – заявлял издававшийся в Лондоне «Колокол» и звал молодежь к отпору и революционному действию. И в самом Петербурге той же осенью 1861 года появляется составленная публицистом «Современника» Н.В. Шелгуновым прокламация «К молодому поколению». В ней говорилось: «Государь обманул ожидания народа – дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и которая ему нужна... Мы хотели бы, разуме-

ется, чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если иначе нельзя, мы зовем охотно революцию на помощь народу»<sup>20</sup>.

В 1861 году из сибирской ссылки – через Японию и Америку – бежал ставший анархистом Михаил Бакунин. «Мы понимаем революцию, – писал он, – в смысле разнуздания того, что *теперь* называется дурными страстями, и разрушения того, что *на том же языке* называется естественным порядком».

Надо было прожить сначала всю полосу шумных славословий в честь освобождения и свободы, а затем – ощущение полного, бесстыдного обмана всех надежд, чтобы понять степень ожесточения молодежи.

В 1862 году сын генерала, талантливый юноша П.Г. Зайчневский в прокламации «Молодая Россия» писал, что только «революция, революция кровавая и неумолимая», а за ней диктатура революционной партии, захватившей власть, способна дать народу истинную свободу. Ради этого он был готов уничтожить сто тысяч помещиков, и прежде всего «императорскую партию»: «Когда будет призыв «в топоры», тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда кто не с нами, тот будет против; кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами»<sup>21</sup>.

Илья Николаевич Ульянов был весьма далек от подобного рода умонастроений и, как свидетельствует Анна Ильинична, не одобрял «разную болтовню», внушавшую крестьянам мысль о переделе земли<sup>22</sup>. Ненавидя до глубины души крепостничество во всех его проявлениях, он, как и многие другие представители поколения русских «шестидесятников», твердо верил в то, что после отмены рабства только просвещение и европеизация России смогут принести общее благоденствие и благосостояние.

Поэтому, когда его же ученики уже начинали помышлять о революционном терроре, Илья Николаевич лишь с еще большей энергией отдавался делу народного образования, и в частности Пензенской воскресной школе...

«...Эти люди в полушубках, чуйках, армяках, пестрядинных и китайчатых халатах, с черными мозолистыми руками, с испачканными лицами, с запахом и цветом, напоминающими ясно ремесло каждого, – писал в эти годы К.Д. Ушинский, – собрались сюда не шутку шутить, не из пустого любопытства, а собрались дело делать, и... это дело, для которого они пожертвовали несколькими часами единственно свободного дня своей трудовой недели, кажется им не только делом полезным, серьезным, но каким-то святым, каким-то религиозным делом»<sup>23</sup>.

Вот и в Пензе педагоги не могли нарадоваться на своих подопечных, которые своим отношением к учебе намного превосходили гимназистов. Но в 1862 году очередь дошла и до них. 10 июня последовало Высочайшее повеление Александра II:

«Надзор, установленный за воскресными школами и народными читальнями, оказался недостаточным. В последнее время обнаружено, что под благовидным предлогом распространения в народе грамотности люди злоумышленные покушались в некоторых воскресных школах развивать вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственности и безверие. В отношении к читальням равным образом обнаружено стремление пользоваться этими учреждениями не для распространения полезных знаний, а для проведения того же вредного социалистического учения». А посему государь император повелел: «Впредь до преобразования означенных школ на новых основаниях закрыть все ныне существующие воскресные школы и читальни»<sup>1</sup>.

В июне 1862 года соответствующий циркуляр министра внутренних дел был вручен Илье Николаевичу, школу закрыли, а в августе следующего года – после свадьбы – он с женой уехал в Нижний Новгород. Город был большой, богатый, с совершенно иной, нежели в Пензе, интел-

лектуальной средой. Появились дети. 14 августа 1864-го родилась дочь Анна. Еще через полтора года – 31 марта 1866-го – сын Александр... Но вскоре – горестная утрата: появившаяся на свет в 1868-м дочь Ольга, не прожив и года, заболела и 18 июля в том же Кокушкине умерла.

Появились и новые друзья. Молодых учителей поселили на казенных квартирах в «красном флигеле» во дворе Дворянского института. Особенно подружились Ульяновы с семьями В.А. Ауновского и В.Н. Захарова, которых тоже перевели в Нижний из Пензы. По вечерам, уложив детей спать, собирались, беседовали, музицировали. Впрочем, Илья Николаевич все с той же полной самоотдачей уходил в работу. Дела по службе шли нормально. В ноябре 1865 года он получил свой первый орден – Святой Анны 3-й степени. Стал преподавать не только в Дворянском институте, но и в гимназии, на курсах лесных таксаторов, набирал уроки. И каждый раз, когда приносил жалованье, Мария Александровна тщательно, до мелочей расписывала бюджет на весь месяц. Надо было строить дом, воспитывать детей, помогать астраханским родственникам. Но пензенский период его жизни напомнил о себе и здесь, в Нижнем.

В апреле 1866 года газеты сообщили о неслыханном – первом в истории России покушении революционеров на государя императора.

4-го числа в Санкт-Петербурге, когда в четвертом часу пополудни Александр II, закончив прогулку по Летнему саду, направлялся к экипажу, неизвестный выстрелил в него из пистолета. Но стоявший рядом крестьянин Комиссаров толкнул его под руку, и пуля пролетела мимо государя. Набевшая толпа сбила стрелявшего с ног, стала бить, а он, закрываясь от ударов, повторял: «Что вы со мной делаете, дурачье?! Я же за вас, за вас! На пользу русскому мужику».

Князь Петр Кропоткин рассказывал: «После... выстрела 4 апреля 1866 года Третье отделение стало всесильным. Заподозренные в “радикализме” – все равно, сделали они что-нибудь или нет, – жили под постоянным страхом. Их могли забрать каждую ночь за знакомство с лицом, замешанным в политическое дело, за безобидную записку, захваченную во время ночного обыска, а не то и просто за “опасные убеждения”. Арест же по политическому делу мог означать все, что хотите: годы заключения в Петропавловской крепости, ссылку в Сибирь или даже пытку в казематах».

А уже через несколько дней следственной комиссии стало известно, что преступник – дворянин Дмитрий Владимирович Каракозов, 1840 года рождения, проживал до 1860 года в Пензе, где учился в гимназии. В ней и в пензенском Дворянском институте учились и многие другие участники подпольного кружка, организованного в Москве двоюродным братом Каракозова – Николаем Ишутиным.

Для Ульяновых начались томительные дни ожидания и страха. Они знали и Каракозова, и Ишутину, но при допросах тот и другой Илью Николаевича не упомянули. А вот его ученик по Дворянскому институту Н.П. Странден в ходе следствия показал, что с Ульяновым был знаком. В деле фигурировало и рекомендательное письмо Ильи Николаевича, данное им другому подследственному с целью облегчить подателю поступление в Московский университет.

На запрос следственной комиссии по поводу преподавателей пензенского Дворянского института и гимназии, обучавших будущих заговорщиков, жандармы ответили, что наиболее «вредным» и «опасным» человеком, оказавшим пагубное влияние на воспитанников, является учитель словесности В.Н. Захаров, у которого учились, а одно время квартировали Каракозов и Ишутин. Ульянов упомянут не был, хотя и он недолго снимал квартиру у Захарова и именно от него принял воскресную школу.

Так или иначе, но на допрос Илью Николаевича не вызывали, и все вроде бы обошлось...

«Спасителю государя» Комиссарову даровали дворянство, возможность задаром пить водку в кабаках, а Каракозов 3 сентября 1866 года был повешен. Ишутина здесь же, у виселицы «помиловали» и заменили веревку бессрочной каторгой в Сибири, где он сошел с ума и в 1879 году умер. А в 1892 году, в состоянии запоя, повесился Комиссаров.



Среди многочисленных арестованных, прямо или косвенно причастных к этому делу, было немало столичных знаменитостей, таких как издатель «Русского слова» Г. Благодетель, поэты В. Курочкин и Д. Минаев, критик В. Зайцев... И скромный, ранее ничем не скомпрометировавший себя нижегородский учитель математики и физики, видимо, выпал из поля зрения «недреманного ока» Третьего отделения.

А жизнь продолжала идти своим чередом. По-прежнему каждое утро Илья Николаевич уходил в гимназию, возвращался поздно. На гимназическом чердаке он устроил обсерваторию и установил телескоп. Отсюда ученики его всматривались в вечернее звездное небо. Для кабинета физики купили действующую модель паровоза, дабы убедились дети, что нет в «чугунке» нечистой силы.

Росли и свои дети – Анна и Александр, родившийся за четыре дня до выстрела Каразова. В июле 1867 года Илья Николаевич получил новый чин – коллежского советника, по Табели о рангах – никак не ниже майора. И все-таки работа в гимназии, особенно после опыта воскресной школы, полного удовлетворения не приносила. Он мечтал о ниве подлинно народного просвещения. Поэтому, когда его астраханский учитель словесности, а теперь инспектор Казанского учебного округа Александр Васильевич Тимофеев написал, что в Симбирске открылась вакансия инспектора губернских народных училищ, Илья Николаевич сразу дал согласие.

## Симбирск

Мария Александровна с детьми поехала в Астрахань провести ульяновских родственников, а Илья Николаевич направился в Симбирск устраиваться и подыскивать жилье. Назначение его на новую должность состоялось 6 сентября 1869 года, и вся семья, переехав в Симбирск, поселилась на Стрелецкой улице, сняв флигель во дворе дома Прибыловской. А вскоре, 10 (22) апреля 1870 года, здесь родился сын Владимир.

16 апреля священник Василий Умов и дьячок Владимир Знаменский крестили новорожденного. Крестным стал управляющий удельной конторой в Симбирске действительный статский советник Арсений Федорович Белокрысенко, а крестной – мать сослуживца Ильи Николаевича коллежская ассессорина Наталия Ивановна Ауновская.

Симбирск был в то время тихим провинциальным городком, насчитывавшим чуть более 40 тысяч жителей, из которых 57,5 процента значились мещанами, 17 процентов – военными, 11 – крестьянами, 8,8 – дворянами, а 3,2 процента – купцами и почетными гражданами. Соответственно, и город делился на три части: дворянскую, торговую и мещанскую. В дворянской были керосиновые фонари и дощатые тротуары, а в мещанской держали по дворам всякую скотину, и живность эта, вопреки запретам, разгуливала по улицам.

Помимо заводов – водочного, пивомедоваренного, винокуренного, воскосвечного и мукомольного, – в Симбирске функционировали две гимназии: мужская и женская, кадетский корпус, духовное училище и семинария, фельдшерская школа и ремесленное училище, чувашская учительская школа и татарское медресе, несколько приходских школ, а также большая Карамзинская библиотека, народная библиотека имени Гончарова и, наконец, театр.

Можно сколько угодно спорить о приметах, верить в них или нет, но факт остается фактом – квартиру Ульяновы сняли рядом с тюрьмой. «Бледные, обросшие, какие-то дикие лица, – вспоминала Анна Ильинична, – глядели из-за решеток, слышалось лязганье цепей... Помню, как угнетало наши детские души это мрачное здание с его мрачными обитателями. Только увлечешься, бывало, чудным видом на Волгу, пением певчих птиц в сбегавших с обрыва фруктовых садах, как лязг цепей, грубые окрики или ругань заставляли нас вздрагивать и оглядываться. Вместе со страхом перед этими людьми наши детские души охватывало чувство глубо-

кой жалости к ним. Помню его отражение в глубоких глазах Саши. И сейчас еще стоит перед моим взором одно худое тонкое лицо с темными глазами, жадно прильнувшее к решетке окна».

Летом мать вывозит детей в Кокушкино – на дачу к деду. Анна Ильинична вспоминает «высокого худого старика, с сильной проседью в черных волосах, с ясными и живыми черными глазами, обычно ласково относившегося к нам, внучатам, и баловавшего нас. В последнее лето помню, как он поднялся раз по лестнице в мезонин кокушкинского дома, где помещалась с нами мать, и как мать моя поднесла и показала ему нового внука, брата Володю, родившегося весной этого года. Вероятно, дед осматривал ребенка с точки зрения врача».

И в это же лето – 17 июля 1870 года Александр Дмитриевич Бланк умер. Похоронили его в трех верстах от Кокушкина, на кладбище приходской церкви села Черемышево рядом с могилой Екатерины Ивановны фон Эссен. Еще через год, в 1871-м, умерла и астраханская бабушка Анна Алексеевна – мать Ильи Николаевича.

А семья продолжала расти. 4 ноября 1871 года родился четвертый ребенок – дочь Ольга. Родившийся в следующем году сын Николай умер, не прожив и месяца. 4 августа 1874-го на свет появился сын Дмитрий, а 6 февраля 1878-го – дочь Мария. Шестеро детей... Ни о какой «светской жизни», а тем более об учительствовании Марии Александровне думать уже не приходилось. После переезда в Симбирск и рождения Володи, кроме кухарки Насти, в дом взяли няню – старую солдатку из села Лутовни Пензенской губернии Варвару Григорьевну Сарбатову. Если учесть, что у Ульяновых часто «гостевали» сестры Марии Александровны и их дети, то станет очевидным, что работы хватало всем.

С первых же дней Ильи Николаевич целиком погрузился в круг своих новых обязанностей. Казалось, исполнилась его мечта: действительно народные сельские школы, которые надо строить, расширять, разрабатывать новые учебные планы, внедрять новейшие методы обучения и воспитания. Но все началось с разочарований...

По всем официальным отчетам, в губернии значилось 460 сельских школ. Это воспринималось как свидетельство просвещенности местного дворянства, и симбирцев повсюду хвалили и ставили в пример. Однако первые же инспекторские объезды Ильи Николаевича показали, что нормально функционирует лишь 89 школ. Остальных либо не было вообще, либо они прекратили свое существование из-за отсутствия учителей или помещений.

Илья Николаевич строил школы, добывал буквари и дрова, подбирал новых молодых учителей, добивался повышения им жалованья... И считал все тяготы своей работы лишь неминуемой платой за осуществление своего сокровенного желания: быть полезным народу в его стремлении избавиться от тьмы и невежества.

Его хвалили. А.Д. Пазухин, предводитель дворянства Алатырского уезда, писал «с благодарностью о неутомимой деятельности уважаемого И.Н. Ульянова. Благодаря его стараниям и энергии учреждались новые школы, открывались учительские съезды. Своим влиянием и примером он привлекал к делу народного образования людей, относившихся прежде к этому делу безучастно».

25 ноября 1871 года Ульянов получил высокий чин – статского советника, а 22 декабря 1872-го – орден Святого Станислава 2-й степени. 1874 год стал пиком его карьеры: 11 июля Илью Николаевича назначили директором народных училищ Симбирской губернии, 21 декабря наградили третьим орденом – Святой Анны 3-й степени. В декабре 1877 года ему был присвоен чин действительного статского советника, равный по Табели о рангах генеральскому званию и дававший права потомственного дворянства. Но, как напишет позднее Мария Ильинична, «для него были важны не чины и ордена, а процветание его любимого дела, наилучшая постановка народного образования, во имя которого он работал не за страх, а за совесть, не щадя своих сил»<sup>24</sup>.

Впрочем, повышение жалованья позволило реализовать давнюю мечту. Сменив с 1870 года шесть наемных квартир и скопив необходимые средства, Ульяновы 2 августа 1878 года за

4 тысячи серебром купили, наконец, собственный дом у вдовы титулярного советника Екатерины Петровны Молчановой на Московской улице в приходе Благоявления Господня. Был он деревянным, в один этаж с фасада и с антресолями под крышей со стороны двора. А позади двора, заросшего травой и ромашкой, раскинулся прекрасный сад с серебристыми тополями, толстыми вязами, желтой акацией и сиренью вдоль забора.

От самого раннего детства воспоминаний осталось немного... Кроме рассказов отца, запомнил Владимир и рассказы о деревне няни Варвары Григорьевны. Много лет спустя, когда Крупская стала носить очки, он вдруг сказал:

– Очки чистые должны быть. Дай я тебе их протру. Я няне моей всегда очки протирал.

– Не забыл ее всю жизнь Владимир Ильич, – заметила Надежда Константиновна.

Запомнилось и то, как, едва научившись читать, стал сам ходить в Карамзинскую библиотеку. По дороге на улице гуляли гуси. Владимир начинал дразнить их, а они, вытянув шеи, начинали наступать на него. И тогда он ложился на спину и отбивался ногами.

– Почему же не палкой? – спрашивал Николай Веретенников.

– Палки под рукой не было. Впрочем, все это пустяки, дурачество.

Из больших событий запомнилась Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Все ее перипетии обсуждали не только взрослые, но и дети. Ровесник Владимира, а потом и его одноклассник, вспоминал: «Без всяких газет, лишь вчера научившись читать и писать, мы все же знали многое про героические подвиги русской армии, друг другу с жаром пересказывая все слышанное, а больше подслушанное: про знаменитую Дунайскую переправу, тяжкую Шипку, неприступную Плевну. С языка, бывало, не сходили прославленные имена Скобелева, Гурко, Радецкого, Дубасова и др., вырезали, собирали их портреты».

Запомнился и приход в Симбирск большой партии пленных турок. И некоторых из наиболее воинственных «патриотов» крайне удивило при этом, что жители города не проявили по отношению к туркам никакой злобы и встречали их «отнюдь не враждебно». Но главным событием 1878 года стало торжественное вступление в Симбирск вернувшегося с войны боевого пехотного Калужского полка. Все население высыпало на улицы, звонили колокола, играли оркестры, люди плакали, целовались, кричали «Ура!», пели «Боже, царя храни...»<sup>25</sup>.

Но Владимир хорошо запомнил и другое: как на протяжении всей войны его любимая няня, «у которой родственники были взяты на войну и некоторые из них там убиты, постоянно с плачем говорила: “Русская кровь зря льется из-за каких-то нам чужих, проклятых болгар. На что они нам, у нас самих забот по горло”». И «насколько помню, – рассказывал позднее Ленин, – с мнением няни совпадало отношение к этой войне и моих родителей»<sup>26</sup>.

Ульяновы в этом отношении не были исключением. Ровесник Владимира князь Владимир Оболенский, проживавший в это время в Смоленской губернии, тоже вспоминал, как в их семье, собираясь щипать корпию для раненых, «рассказывали о хищениях интендантов, о замерзших на Шипке солдатах, для которых не было заготовлено теплых вещей, о том, как великий князь Николай Николаевич (старший), чтобы сделать Государю сюрприз в его именины, штурмовал Плевну и положил при этом бессмысленном штурме огромное количество солдат, и т. д. По случаю этого эпизода по рукам ходило стихотворение, начинавшееся так:

Именинный пирог из начинки людской  
Брат подносит державному брату...»<sup>27</sup>

Если бы кто-то захотел доказать, что главным в воспитании детей являются не «педагогические» нравоучения, не разговоры о добродетели и уж тем более не наказания, а прежде всего та особая повседневная атмосфера семьи, определяемая главными жизненными ценностями,

которых искренне придерживаются родители, то лучшего объекта исследования, наверное, не надо было и искать.

От отца исходило, может быть, самое важное: признание абсолютной ценности знания и отношение к труду, направленному не на личные, сугубо меркантильные интересы, а на общее благо. Детям не надо было долго объяснять и то, что такое честность и порядочность. Пример Ильи Николаевича стоял перед глазами. А отношение матери к его беззаветному служению своему долгу – делу народного просвещения – еще больше укрепляло силу воздействия отцовского примера.

Каждый раз после его возвращения из поездок вся семья собиралась в гостиной, и Илья Николаевич живописал свои наблюдения о крестьянской жизни и быте, произволе всяческого начальства, о случайно услышанных разговорах или выступлениях на сельских сходах... И, помимо прочего, это воспитывало в детях такое чувство, как сострадание – умение воспринимать чужие беды и чужое горе как свое собственное.

Одним из первых стихотворений, выученным Володицей наизусть, была «Песня бобыля» И.С. Никитина. И когда собирались гости, он с большим задором – плохо выговаривая, как и отец, букву «р» – декламировал:

Богачу-дур-р-аку  
И с казной не спится;  
Бедняк гол как сокол,  
Поет-веселится.

В гимназическом сочинении старший сын Александр напишет: «Для полезной деятельности человека нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум и 5) знание».

Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела... Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он выберет для себя, и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды»<sup>1</sup>. Так что уроки отца даром не пропали.

Что касается матери, то от нее шло и другое начало – то, которое некоторые биографы Ленина называют порой «немецкий педантизм». Но вряд ли это определение верно. Скорее, это понимание того, что человек сможет сделать нечто большое и значительное лишь в том случае, если он не потратит жизнь на безалаберную суету, а сумеет организовать свое время и стать его хозяином.

Важным элементом такого воспитания она считала, в частности, жесткий распорядок дня. Дети вставали в 7 часов. Убирали свои кровати. Затем утренний туалет. Завтрак. Теперь старшим пора в гимназию... Впрочем, нет: дабы не простудиться после горячей пищи, надлежит выдержать десятиминутную паузу дома и лишь потом выходить на улицу.

Младшие тоже занимались: сначала с Марией Александровной – чтением, письмом, иностранными языками, музыкой, а по мере роста – с учителем Василием Андреевичем Калашниковым, готовившим их к поступлению в 1-й класс.

К обеду старшие возвращались из гимназии и всей семьей садились за стол. Съесть было положено все, что дают. И кстати сказать, Владимира понукать не приходилось. Аппетит у него в детстве был отменный. И не случайно, когда под руководством Саши дети стали выпускать еженедельный семейный журнал «Субботник», коренастый и плотный Володя получил псевдоним – свой первый литературный псевдоним – Кубышкин.

Дома дети не только убирали за собой. Девочки вязали, вышивали, следили за одеждой мальчиков: чинили, штопали, пришивали пуговицы. Мальчики, в свою очередь, должны были наливать водой бочки в саду, помогать переносить тяжести сестрам, няне и матери. А летом, когда чаепитие устраивали в беседке, все дети накрывали на стол.

Фруктов и ягод, произраставших в саду, они наедались вволю. Но свой порядок и дисциплина существовали и здесь. Яблоки можно было брать лишь те, которые созрели и упали на землю. Остальные – для варенья на зиму. И в клубнике детям отведены определенные грядки – к другим не подходят. А вишню у беседки вообще нельзя трогать до 20 июля – дня ангела Ильи Николаевича<sup>1</sup>.

Но и при такой жесткой системе случались срывы. Однажды мать чистила в кухне яблоки для пирога. «Кучка яблочной кожуры лежала на столе. Володя вертелся подле и попросил кожуры. Мать сказала, что кожуру не едят. В это время кто-то отвлек ее; когда она повернулась опять к своей работе, Володи в кухне уже не было. Она выглянула в садик и увидела, что Володя сидит там, а перед ним, на садовом столике, лежит кучка яблочной кожуры, которую он быстро уплетает. Когда мать пристыдила его, он расплакался и сказал, что больше так делать не будет».

Однако система нравственных и поведенческих запретов имела и свои границы. Когда учитель Василий Калашников впервые ступил в дом Ульяновых, он увидел детей, обряженных в самодельные «индейские» одежды. Потрясая копьями и луками, со страшными криками и воплями они носились по двору.

– Дети должны кричать, – очень серьезно сказала ему Мария Александровна.

В дальнем углу сада, у самого забора, Владимир и Ольга устроили шалаш – «вигвам». Он ходил на «охоту», она стерегла «очаг», готовила пищу. И никто из взрослых не должен был заглядывать в этот угол...

После гастролей в Симбирске какого-то цирка они с Ольгой в сарае натянули довольно высоко веревку и, рискуя свалиться, пытались повторить номер канатоходцев. И в этом им тоже никто не мешал.

Но еще более удивляло соседей то, что если родители оказывались в чем-то не правы, они признавали свою ошибку. «Вот моду завели, – судачили кумушки, – перед детьми извиняются, если что, как перед взрослыми. Где ж это видано?»

Эта не декларируемая, а совершенно естественная атмосфера взаимного уважения проявлялась с особой силой опять-таки тогда, когда вся семья была в сборе. Когда отец играл с детьми, рассказывал не только о школе и поездках, но и о великих путешественниках, о звездах, строении вселенной, читал любимые стихи Некрасова и пел русские народные песни. Когда мать присаживалась к роялю и дом наполняли звуки прекрасной музыки. Или когда в Кокушкине она вела всех в лес, где знала каждую тропку, собирать цветы, грибы и ягоды. А Илья Николаевич шутя приговаривал: «Как бы ягод насобирать и детей не растерять».

Может быть, во время этих прогулок и зарождалась в детях та неистребимая любовь к русской природе, которую не могли потом вытеснить ни живописность швейцарских Альп, ни холодная красота Нормандии, ни лучезарные ландшафты Италии.

Требовательность Марии Александровны отнюдь не означала и того, что дети должны вертеться вокруг маминой юбки. В Симбирске во время каникул она отпускала Сашу и Володю в многодневные лодочные походы по Волге.

Это запомнилось на всю жизнь, и много позднее Владимир Ильич рассказывал уже знакомому нам Ивану Попову: «Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь... Так широка. Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали, и над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня. И песни же у нас в России!»<sup>28</sup>

Их спутник Иван Яковлев тоже вспоминал: «В пути пели волжские песни. Подобные путешествия, в которых принимал деятельное участие и Володя Ульянов, длились с неделю, а иногда и более»<sup>29</sup>.

И в Кокушкине Мария Александровна разрешала Володе уезжать с деревенскими ребятами в ночное, отпускала в деревню, на реку. «Володя, я и другие двоюродные братья, – рассказывает Николай Веретенников, – с самого раннего детства любили полоскаться в воде, но, не умея плавать, должны были барахтаться на мелком месте у берега и мостков или в ящике-купальне. Старшие называли нас лягушатами, мутящими воду. Это обидное и пренебрежительное название нас очень задевало. Помню, как и Володя, и я, и еще один из сверстников в одно лето научились плавать. Вообще в семь-восемь лет каждый из ребятшек мог переплыть неширокую реку, а если мог и назад вернуться без отдыха на другом берегу, то считался умеющим плавать. Курс плавания на этом не кончался – мы совершенствовались беспредельно: надо было научиться лежать на спине неподвижно, прыгать с разбега вниз головой; нырнув, доставать со дна комочек тины; спрыгивать в реку с крыши купальни; переплывать реку, держа в одной руке носки или сапоги, не замочив их...»<sup>30</sup>

Но любые забавы и игры допускались лишь до тех пор, пока не становились слишком опасными.

Один из приятелей Володи – Н.Г. Нефедьев вспоминал, как в Симбирске бегали они удить рыбу на Свиягу, но кто-то из ребят предложил ловить рыбу в большой наполненной водой канаве поблизости, сказав, что там хорошо ловятся караси. Они пошли, но, наклонившись над водою, Володя свалился в канаву; илистое дно стало засасывать его. «Не знаю, что бы вышло, – рассказывает этот товарищ, – если бы на наши крики не прибежал рабочий с завода на берегу реки и не вытащил Володю. После этого не позволяли нам бегать и на Свиягу»<sup>31</sup>.

О том, что надо быть правдивым, родители говорили и напоминали многократно. И это требование как-то вошло в повседневный быт. Старший брат Саша, который был любим всеми младшими и являлся для них абсолютным авторитетом, выражался еще категоричней и заявил, что более всего ненавидит такие пороки, как «ложь и трусость». Это, видимо, запомнилось.

И вот однажды, когда по дороге в Кокушкино Мария Александровна заехала в Казань к сестре Анне Веретенниковой, Володя, «разбегавшись и разыгравшись с родными и двоюродными братьями и сестрами, толкнул нечаянно маленький столик, с которого упал на пол и разбился вдребезги стеклянный графин.

В комнату вошла тетя.

– Кто разбил графин, дети? – спросила она.

– Не я, не я, – говорил каждый.

– Не я, – сказал и Володя.

«Он испугался признаться перед малознакомой тетей в чужой квартире, – вспоминает Анна Ильинична, – ему, самому младшему из нас, трудно было сказать “я”, когда все остальные говорили легкое “не я”. Вышло, таким образом, что графин сам разбился». Так все и сошло...

Но носить эту «ложь и трусость» в себе ему оказалось просто не под силу. «Прошло два или три месяца. Володя уже давно уехал из Кокушкина и жил опять в Симбирске. И вот раз вечером, когда дети уже улеглись, мать, обходя на ночь их кровати, подошла и к Володиной. Он вдруг расплакался.

– Я тетю Аню обманул, – сказал он, всхлипывая. – Я сказал, что не я разбил графин, а ведь это я его разбил.

Мать утешила его, сказав, что напишет тете Ане и что она, наверное, простит его.

Он не мог уснуть, – заключает Анна Ильинична, – пока не сознался»<sup>32</sup>.

В семьях педагогов с наказаниями всегда проблема. Илья Николаевич до конца дней своих с ужасом вспоминал, как в Астраханской гимназии, где он учился, и в Пензенской, где

работал, служитель перед поркой учеников распаривал березовые прутья, дабы дали они «свою настоящую пользу»<sup>33</sup>. Да и потом директору народных училищ Ульянову постоянно приходилось напоминать учителям, что недопустимы наказания «розгами, становление на колени, рванье за волосы или за уши, щелчки, пинки и т. п., как наказания, вредные для здоровья детей и поддерживающие грубость нравов».

Между прочим, даже в семье земляка Ленина писателя Гончарова мать свирепо драла сына за уши и заставляла часами стоять на коленях в углу. Естественно, что у Ульяновых обходились увещеваниями, воспитательными беседами либо отводили в кабинет отца, усаживали в большое кожаное черное кресло и оставляли одного, дабы мог ребенок поразмыслить над своим поведением.

А между тем в России именно в это время вопрос о телесных наказаниях, и в частности о розгах, приобрел громкое политическое звучание.

С самого начала 70-х годов среди российской демократической молодежи стали широко распространяться «Исторические письма» Петра Лаврова. Этот именитый псковский дворянин, став революционером, писал о священном «долге» интеллигенции перед народом и необходимости идти «в народ», для того чтобы расплатиться за этот долг.

«Надо было жить в 70-е годы, в эпоху движения в народ, – вспоминал Н. Русанов, – чтобы видеть вокруг себя и чувствовать на самом себе удивительное влияние, произведенное “Историческими письмами”! Многие из нас, юноши в то время, а другие просто мальчишки, не расставались с небольшой, истрепанной, исчитанной, истертой вконец книжкой. Она лежала у нас под изголовьем. И на нее падали при чтении ночью наши горячие слезы идейного энтузиазма, охватившего нас безмерной жадью жить для благородных идей и умереть за них... К черту и “разумный эгоизм”, и “мыслящий реализм”, и к черту всех этих лягушек и прочие предметы наук, которые заставили нас забывать о народе! Отныне наша жизнь должна всецело принадлежать массам!»

И тысячи молодых людей, бросая все – состоятельные и родовитые семьи, престижные университеты и институты, будущую карьеру, – пошли в народ, к обездоленным и униженным. Из них около 4 тысяч были арестованы, сотни и сотни отправлены на каторгу, сосланы в Сибирь.

Ответом на эти насилия стал террор...

Утром 24 января 1878 года в приемную Петербургского градоначальника Ф. Трепова вошла симпатичная молодая женщина. Когда сам генерал-адъютант подошел к ней, она открыла сумочку, вынула пистолет и выстрелила в упор. Это была 28-летняя Вера Ивановна Засулич, и стреляла она в Трепова, после того как градоначальник приказал подвергнуть порке студента А. Боголюбова, осужденного за участие в демонстрации на 15 лет каторжных работ.

Суд над Засулич стал главной сенсацией, о которой писали и говорили повсюду. Ее адвокат П. Александров в защитительной речи заявил о том, что истязания, совершенные над Боголюбовым, являются позорным надругательством над честью и достоинством человека. Было время, говорил он, когда «розга царила везде: в школе, на мирском сходе, она была неременной принадлежностью на конюшне помещика, потом в казармах, в полицейском управлении». Но и после отмены крепостного права, несмотря на официальный запрет телесных наказаний, розга осталась как некий традиционный «русский сувенир».

Трепов после ранения остался жив, и 31 марта 1878 года суд присяжных Веру Засулич оправдал. Общественное мнение было целиком на ее стороне. И когда московский гимназист Саша Гучков, с которым нам еще не раз придется встретиться, попытался у себя в классе осудить Засулич, одноклассники просто избили его.

Акты мести за гибель товарищей, за надругательства над человеческой личностью продолжались. Через несколько месяцев на юге России член организации «Земля и воля» Попко убивает жандармского офицера Гейкинга. Валериан Осинский покушается на жизнь царского

прокурора Котляревского. А 4 августа 1878 года «земледелец» Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский ударом кинжала убивает в Петербурге шефа жандармов Н. Мезенцова.

«Мы, русские, – писал Степняк в брошюре “Смерть за смерть”, – вначале были более какой бы то ни было нации склонны воздержаться от политической борьбы и еще более от всяких кровавых мер, к которым не могли нас приучить ни наша предшествующая история, ни наше воспитание. Само правительство тянуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали. Само правительство вложило нам в руки кинжал и револьвер».

Обо всем этом говорили и просто судачили повсюду. А когда правительство обратилось к обществу с призывом о помощи в борьбе с терроризмом, некоторые либеральные земства – Тверское, Черниговское, Харьковское – выступили с критикой самого правительства и завуалированными предложениями о введении Конституции. И военный министр Д. Милютин в июне 1879 года записал в своем дневнике: «Никто не верует в прочность существующего порядка вещей».

## Гимназия

А в семье Ульяновых летом 1879 года Володе предстояло поступать в Симбирскую гимназию. Занятия с В.А. Калашниковым, потом с И.Н. Николаевым, а на заключительном этапе с Верой Павловной Прушакевич дали свои результаты. По тем главным критериям, которые определяли «годность», – по «Закону Божию», знанию «общеупотребительных молитв» и событий, изложенных в Ветхом и Новом Завете, умению читать по-церковнославянски, а также к «диктовке без искажения слов», громкой декламации стихотворений, разбору частей речи, склонений, спряжений и «умственному решению» арифметических задач – Владимир был подготовлен вполне.

Вступительные экзамены, проходившие с 7 по 11 августа, он сдал на высшие баллы и 14-го был зачислен в 1 класс «А». В четверг 16-го – день начала учебного года – Володя впервые надел поверх хромовых полусапожек темно-серые шаровары, затем темно-синий однобортный мундир с девятью посеребренными пуговицами и жестким стоячим воротником, подпиравшим подбородок, темно-синее кепи с посеребренной кокардой, закинул за спину ранец установленного образца и вместе с Александром и Анной пошел на свой первый школьный урок. Саша шел уже в 5-й класс, а Аня – в выпускной класс Мариинской женской гимназии.

Первый день не обошелся без приключений. На перемене Володя вынул из ранца свой завтрак и доверчиво протянул какому-то гимназисту пакетик с домашними пирожками, рассчитывая, что тот удовольствуется одним. Но гимназист «со смехом отобрал все содержимое, оставив Володю без завтрака».

Гимназию в семье Ульяновых недолюбливали. О том, во что превратились российские гимназии в 70—80-е годы после реформ министров народного просвещения графа Д.А. Толстого и И.Д. Делянова, хорошо написал А.П. Чехов в «Человеке в футляре»: «Не храм науки, а управа благочиния, и кислотной воняет, как в полицейской будке». Писали об этом и В.Г. Короленко, В.В. Вересаев, Н.Г. Гарин-Михайловский и другие.

Муштра и зубрежка – эти два элемента определяли весь учебный процесс. Фиксировалось все: расстегнутый воротник мундира, шалости на перемене, «неуместные вопросы к преподавателям», «неимение на уроке Евангелия» и т. п. Провинившихся строго наказывали, вплоть до суточного заключения в карцер с содержанием на черном хлебе и воде<sup>34</sup>.

Однако появление Владимира в гимназии совпало с ее реорганизацией. На смену провалявшемуся И.В. Вишневному директором назначили действительного статского советника Федора Михайловича Керенского. Позднее он напишет: «В округе гимназия по малоуспешности учеников была на самом плохом счету... В первый же учебный год по вступлении моем в должность директора уроки древних языков в старших классах были переданы отлично знаю-



щим свое дело и энергичным преподавателям, а преподавание словесности и логики взял я на себя. Через три-четыре года Симбирская гимназия снискала лучшую репутацию среди других гимназий округа»<sup>35</sup>.

Естественно, что общее направление воспитания при этом не претерпело никаких изменений. «Главнейшее внимание было обращено на то, – писал Керенский в одном из донесений в Казань, – чтобы развить в учениках религиозное чувство, отдалить их от дурных сообществ, развить чувство повиновения начальству, почтительность к старшим, благопристойность, скромность и уважение к чужой собственности»<sup>36</sup>.

В провинции было принято ходить по праздникам в гости к друзьям и коллегам. И Федор Михайлович, питавший по отношению к Илье Николаевичу самое глубокое почтение, не раз наносил визиты Ульяновым всей семьей. Так что вполне очевидно, что родившийся здесь же, в Симбирске, 22 апреля (4 мая) 1881 года Александр Федорович – будущий премьер-министр Российской республики – в раннем детстве тоже переступал порог ульяновского дома.

До конца дней своих будет Ленин вспоминать о своей Симбирской гимназии как о «казенной», «нелюбимой» и даже «ненавистой». Спустя много лет он скажет: «Старая школа была школой... муштры, школой зубрежки... Она заставляла людей усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову...»

Но это не мешало ему все 8 лет переходить из класса в класс с похвальными листами и «первым учеником». В этом смысле гимназический восьмилетний «искус», как выразилась Анна Ильинична, стал временем воспитания и закалки характера для всех детей Ульяновых, и особенно для Владимира, как наиболее подвижного и экспансивного ребенка.

В детстве «надо» и «хочется» довольно часто совпадали, а от того, чего не хочется, можно было как-то избавиться. Теперь же – причем ежедневно и ежечасно – надо было делать как раз то, чего не очень и даже совсем не хотелось.

Уроки начинались в 9 часов утра. Но за четверть часа до этого все гимназисты собирались в церковном зале на молитву. Затем до 12 часов шли три урока по 50 минут с короткими переменами. А с 12 до 12.30 – большая перемена для гимнастики и завтрака. С 12.30 – еще два урока, кончавшиеся в 2 часа 30 минут. После этого, ошалев от почти 6-часового рабочего дня, гимназисты шумной гурьбой вываливались на улицу, хотя в гимназических правилах специально оговаривалось, чтобы шли они домой «каждый в свою сторону не гурьбой и не группами».

Потребовалось прежде всего выработать в себе умение и привычку к систематичности занятий. На уроках он внимательно слушал объяснения преподавателей. Дома повторял этот урок по учебнику, в том числе и «зады», то есть пройденное ранее. А поскольку память была хорошей, то и задание усваивалось быстро.

Что же касается письменных работ, а их задавали очень много, то тут существовал определенный ритуал... Все гимназисты: Саша, Аня, Владимир, а потом Ольга – садились за большой обеденный стол и готовили домашние задания под наблюдением Марии Александровны. И только после того как уроки были сделаны и проверены, можно было заниматься чем-то другим. А утром, перед уходом на занятия, Владимир успевал повторить уроки еще раз.

Николай Веретенников вспоминал эпизод, рассказанный ему Владимиром: «На уроках новых языков соединяли основной и параллельный классы. И вот первый ученик параллельного класса (кажется, Пьеро) просит у него списать слова к немецкому переводу.

– И что же, ты дал?

– Конечно, дал... Но только какой же это первый ученик?

– Так неужели с тобой никогда не бывало, что ты урока не приготовил?

– Никогда не бывало и не будет! – отрезал Володя».

Ему уже тогда, замечает Веретенников, были свойственны подобные короткие и решительные формулировки<sup>37</sup>.

Все это требовало не только прилежания, полной концентрации внимания, огромного терпения, но и умения подавлять в себе эмоции, вполне естественную скуку, то есть того, что называют способностью «держаться в руках».

И тем не менее у отца и матери складывалось впечатление, что «Володе все слишком легко дается» и в нем «не вырабатывается трудоспособность»<sup>38</sup>. Они еще больше усилили контроль, стали дополнять задания. А в старших классах Илья Николаевич попросил Владимира давать трижды в неделю бесплатные уроки по латыни и греческому учителю математики чувашской школы Никифору Михайловичу Охотникову, с тем чтобы за два года подготовить его в университет<sup>39</sup>.

Анна Ильинична написала еще об одной подоплеке этой жесткой системы: «Вполне правильной она была только для брата Владимира, большой самоуверенности которого и постоянным отличиям в школе представляла полезный корректив. Ничуть не ослабив его верной самооценки, она, несомненно, сбавила той заносчивости, к которой склонны бывают выдающиеся по способностям захваливаемые дети»<sup>40</sup>.

Покойная Екатерина Ивановна фон Эссен любила повторять фразу, которую хорошо запомнили все сестры Бланк: «Так надо!» Но ее «так надо» не объясняло причин. А Илья Николаевич, сам недолюбливавший гимназию, объяснил своим детям, ради чего надо зубрить и терпеть: гимназия – «необходимый мост», без преодоления которого «нет доступа в университет»<sup>41</sup>.

В минуту гнева Салтыков-Щедрин сказал как-то о министре народного просвещения графе Дмитрие Андреевиче Толстом, что он «своим дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет...». И немалая доля истины была в этой оценке.

Именно в эти годы, хотя и был он на два года старше Владимира Ульянова, проходил курс 13-летнего «домашнего обучения» престолонаследник Николай Романов. Первые восемь лет отводились гимназическому курсу. Программу составлял сам Победоносцев. Так вот, латынь и древнегреческий он в нее вообще не включил. Зато значительно расширились занятия по английскому, французскому и немецкому языкам. Среди преподавателей были известнейшие ученые – Н.Н. Бекетов, Н.Х. Бунге, Ц.А. Кюи, Г.А. Леер и др. Впрочем, профессорам решительно запрещалось задавать вопросы ученику. Сам же он, как правило, ни о чем не спрашивал. Так что степень усвоения им наук так и осталась загадкой.

Владимиру Ульянову все восемь лет пришлось учиться по иной – полной «классической» программе. Преподавание древних языков – греческого и латыни – было поставлено на редкость занудно. Они были настоящим бичом для гимназистов и главной причиной неуспеваемости, второгодничества и «отсева». Тут Владимиру оказывали помощь и Александр, и отец, который сам вместе со старшим сыном стал изучать древнегреческий, ибо в Астраханской гимназии его не преподавали. Латынь сразу пошла у Владимира хорошо, причем он настолько увлекся ею, что пришлось даже умерять рвение, дабы не ущемлять другие предметы.

Новые языки давались легче, ибо немецким и французским дети занимались еще до гимназии с матерью. Учитель немецкого Яков Михайлович Штейнгауэр был милейшим человеком, которого в семье Ульяновых хорошо знали. Но научиться у него читать книги или говорить по-немецки было совершенно невозможно. На уроках все сводилось к заучиванию исключений в виде какой-то рифмованной мешанины. И все это сопровождалось бесконечными окриками и выкриками:

– Кто невнимательно слушать будет – всех в форточку вышвырну!.. Выньте голову из кармана, поставьте ее на плечи!.. Ничего не понять, что ты лепечешь...

На одном из первых уроков, когда отвечал Владимир, учитель в обычной своей манере закричал:

– Выплюнь кашу изо рта!

– Извините, Яков Михайлович, – услышал он в ответ, – у меня никакой каши во рту нет! Это я немного неясно выговариваю некоторые буквы...

С тех пор Штейнгауэр никогда на него не кричал и лишь нахваливал за хорошее знание грамматики.

Преподавателей, говоря мягко, вообще не очень любили. «Состав учителей, – рассказывала Мария Ильинична, – был очень плохой. Некоторые выезжали на том, что заставляли зубрить, другие относились к преподаванию спустя рукава... Особого уважения к себе учителя не могли внушить».

Мало того, если представлялся случай устроить им какую-либо гадость, гимназисты этой возможности не упускали. И тут уж начинал действовать школьный закон «круговой поруки»...

Древнегреческий в гимназии одно время преподавал Володин родственник – Александр Иванович Веретенников. Преподавал хорошо и отметки ставил строго, но справедливо. Однако постепенно у него стало развиваться тяжелое нервное заболевание, которое превратило его, как пишет ставший поэтом соученик Владимира Аполлон Коринфский, в жалкого «евангельски расслабленного» человека. Тут-то жестокая мстительность гимназистов и проявила себя сполна...

«Как только он появлялся в классе, – рассказывает Коринфский, – и садился на заранее политый чернилами или обильно смазанный мелом стул у кафедры, раздавался грохот всех парт, разом сдвигаемых со своих мест и загораживавших ход к двери. Начиналось настоящее “истязание” жалкого человека, еле-еле передвигавшего ноги и от малейшего волнения переживавшего настоящий нервный припадок. В лицо ему швыряли жеваную бумагу. Пачкали всякой дрянью его сюртук. Пели специально сложенные общими силами и весьма неприличные “гимны Холере”...

И однажды, услышав шум и заглянув в класс, все это беснование увидел директор Федор Михайлович Керенский...

– Что за мерзость! – закричал он. – Прodelывать такую подлость с совершенно больным человеком, с величайшим трудом зарабатывающим себе здесь на черствый кусок хлеба и на необходимые лекарства!.. Весь класс... в карцер, в нужник... без обеда!.. Назвать всех зачинщиков этого безобразия!..

Тут же повернувшись к «Ульяше», Керенский молча посмотрел на него и сказал:

– Я знаю, что вы не могли принимать участия в этом диком проступке. Соберите ваши книги с тетрадями и уходите домой! Не требую от вас указания зачинщиков...

Ульянов вспыхнул, как зарево, до кончиков ушей и каким-то чужим, не своим голосом выкрикнул:

– Я не могу уйти, когда все мои товарищи, весь класс должны будут сидеть в карцере... позвольте же и мне остаться с ними! Я так же виновен, как и все остальные.

– Не верю я вам, Владимир Ульянов! Вы не могли! Понимаете, не могли быть заодно ни с зачинщиками, ни с участниками такой подлости... повторяю, вы свободны... идите домой!..

– Да не могу же я этой подлости сделать!

И после уроков, – завершает Коринфский, – Ульянов последовал за всеми товарищами в наш школьный “застенек”... С трех часов мы просидели там (голодные и чуть не задыхаясь от вони, проникавшей сквозь щели перегородки и пола из уборной) до девяти часов вечера...»

Может быть, во время одной из таких «коллективов» Владимир впервые попробовал и закурить. Спустя много лет, в разговоре с красноармейцами, нещадно дымившими махрой, он рассказал: «Помню, когда был гимназистом, один раз вместе с другими так накурился, что

стало дурно. И с того времени не курю». Была для этого отказа и еще одна причина: о курении узнала мать. Она попросила его бросить, и, как рассказывает Н.К. Крупская, Владимир дал слово «и с тех пор ни разу не дотронулся до папирос».

Конечно, потребовались и определенные жертвы по отношению к тому, что мешало учебе, особенно в старших классах. Володя, например, научился довольно прилично кататься на коньках. Каток на Свияге, где по вечерам горели керосиновые фонари, играл военный духовой оркестр и собиралась симбирская молодежь, был его излюбленным местом. Он мог, как это делали кадеты, стоя во весь рост, скатиться с ледяной горки. Умел он делать и то, что называли тогда «фигурами». И это вызывало особый восторг гимназисток – Олиных подруг.

«Зимой он почти каждый день ходил на каток, – вспоминала Аня Орлова. – Сидишь у окна и видишь – идет он с коньками... Шинель на нем длинная, сшитая с запасом на будущий рост... Ольга придет ко мне и скажет: “Нюра, пойдем на каток. Посмотрим, как Володя катается...” Быстро соберусь – и пойдем.

Увидит Володя Ульянов, что мы на каток пришли, и подкатит к нам, сделав при этом по льду замысловатую фигуру. Ольга приходит в восторг: “Ах, как хорошо! А ну-ка еще раз так прокатись!” Через минуту Володя Ульянов катит к нам по льду кресло. Ольга садится в кресло, и брат долго катает свою любимую сестру. Потом катает и меня»<sup>42</sup>.

Но в старших классах Владимир стал появляться на катке все реже и реже. Позднее он рассказывал Крупской, что к концу дня уставал, «после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, – бросил»<sup>43</sup>.

Один из ленинских биографов, которого мы помянем еще не раз, – Н.В. Валентинов услышал в 1904 году в Женеве фразу, брошенную Лениным: «Ухажерством я занимался, когда был гимназистом, на это теперь нет ни времени, ни охоты»<sup>44</sup>. Сам Валентинов – красавец и атлет, пользовался успехом у женщин. Он хорошо знал Симбирск, и в его воображении сразу же стали рисоваться картины того, как юный Владимир гулял с гимназисточками по берегам Свияги или в лесочке на окраине Симбирска.

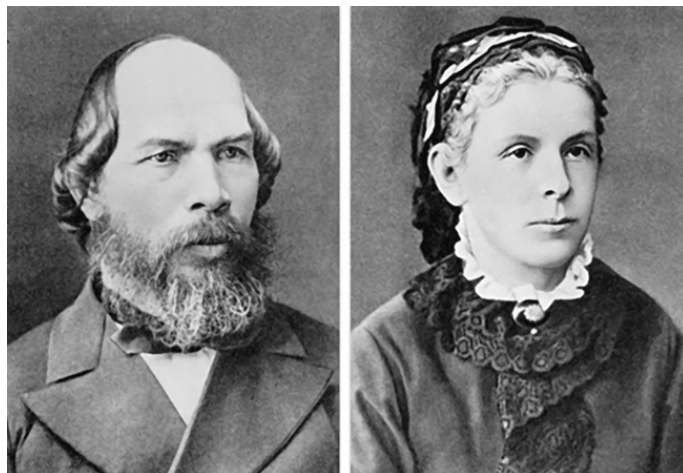
Увы! Сестра Ольга перезнакомила Владимира со своими гимназическими подругами, он с удовольствием помогал им готовить уроки, но «романа» так и не получилось. Девочки стеснялись его – такого серьезного и начитанного. Саша Щербо рассказывала, например, что как-то Владимир пошел проводить ее домой: «Он меня расспрашивал об учителях так серьезно, деловито, что я робела и не знала, как лучше сказать»<sup>45</sup>.

А однажды, когда Ольга заболела, она попросила брата передать записку другой подружке – Вере Юстиновой. Но свидание не состоялось... Вера сказала, что он убежал от нее, а Владимир – что убежала она, сконфузившись перед старшеклассником. И в следующей записке Ольга пишет подружке: «Брат сообщил мне, что *не он от Вас убежал, а Вы от него*. Это можно объяснить взаимной храбростью...»<sup>46</sup>

Чувствуя себя совершенно свободно в общении с родными и двоюродными сестрами, с дочерью кухарки Леной<sup>47</sup>, он был крайне стеснителен с малознакомыми девочками.

Многодетные семьи, где есть братья и сестры, не только родные, но и двоюродные – а у Ульяновых было 33 (!) кузена и кузины, – нередко оказываются для детей вполне «самодостаточными». Их потребность в общении и играх удовлетворяется дома полностью. Может быть, поэтому ульяновские дети, будучи контактными и общительными, тем не менее редко заводили близких друзей на стороне. Может быть, поэтому и у Владимира таких друзей, с которыми «душа нараспашку», среди одноклассников не было. М.Ф. Кузнецов, например, проучившись с ним с 1-го по 8-й класс, написал, что и он не мог «похвастаться интимной близостью с Ильичом»<sup>48</sup>. О том же вспоминал в 1918 году и Аполлон Коринфский: «Товарищеские начала

соблюдались им неуклонно и неизменно; но не было случая, когда эти отношения переходили бы на более интимную плоскость. Он был для всех – «наш», но ни для кого не был «своим»<sup>49</sup>.



Родители Владимира Ульянова – Илья Николаевич и Мария Александровна

Это объясняет, почему воспоминания его одноклассников касаются лишь событий «внешних» и мало что говорят о формировании «жизни духа». Но попытки завязать дружбу были, ибо, как пишет Крупская, ему «ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить о тех мыслях, которые зародились у него»<sup>50</sup>.

«Вторым учеником» в его классе был Саша Наумов. Он пришел в третий класс из военной гимназии, любил музыку, играл на скрипке и все шесть лет сидел за одной партой с Владимиром. По каким-то репликам на переменах показалось, что он не только умен, но и настроения вроде бы близкие... Сговорились пойти погулять к Свяяге. Но разговора не получилось. Саша стал говорить о выборе профессии и о том, что нужна такая, которая позволит быстрее сделать блестящую карьеру и получше устроиться в этой непростой жизни. Владимиру стало скучно, и больше попыток сближения с «карьеристом» он не делал<sup>51</sup>.

А Александр Николаевич Наумов, не терзая себя размышлениями об «общем благе» и «неоплатном долге перед народом», карьеру-таки сделал. Стал земским начальником, потом уездным предводителем дворянства в Самарской губернии. В 1905-м его избрали губернским предводителем дворянства. Встретился с Николаем II и в 1908 году «по высочайшему повелению» был введен в Государственный совет России. А в 1915-м возглавил министерство земледелия. Чем не карьера? Гимназия гордилась им. Александр Николаевич и дальше бы пошел, но помешал 1917 год...

Естественно, что Ленина он совсем не любил, но в мемуарах, изданных в эмиграции, написал: «Центральной фигурой во всей товарищеской среде моих одноклассников был несомненно Владимир Ульянов, с которым мы учились бок о бок, сидя рядом на парте в продолжение всех шести лет, и в 1887 году окончили вместе курс. В течение всего периода совместного нашего с ним учения мы шли с Ульяновым в первой паре: он – первым, я – вторым учеником, а при получении аттестатов зрелости он был награжден золотой, я же серебряной медалью.

Маленького роста, довольно крепкого телосложения, с немного приподнятыми плечами и большой, слегка сдавленной с боков головой, Владимир Ульянов имел неправильные – я бы сказал – некрасивые черты лица: маленькие уши, заметно выдающиеся скулы, короткий, широкий, немного приплюснутый нос и вдобавок – большой рот, с желтыми, редко расставленными, зубами. Совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками, Ульянов был светлый блондин с зачесанными назад длинными, жидкими, мягкими, немного выющимися волосами.

Но все вышеуказанные неправильности невольно скрашивались его высоким лбом, под которым горели два карих круглых уголька. При беседах с ним вся невзрачная его внешность как бы стушевывалась при виде его небольших, но удивительных глаз, сверкавших недюжинным умом и энергией.

Ульянов в гимназическом быту довольно резко отличался от всех нас – его товарищей. Начать с того, что он ни в младших, ни тем более в старших классах никогда не принимал участия в общих детских и юношеских забавах и шалостях, держась постоянно в стороне от всего этого и будучи беспрерывно занят или учением, или какой-либо письменной работой. Гуляя даже во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжки и, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон, весь уткнувшись в свое чтение. Единственно, что он признавал и любил как развлечение, – это игру в шахматы, в которой обычно оставался победителем даже при одновременной борьбе с несколькими противниками. Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью. Повторяю, я все шесть лет прожил с ним в гимназии бок о бок, и я не знаю случая, когда “Володя Ульянов” не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей.

Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он все ж недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум.

По характеру своему Ульянов был ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в товарищеских отношениях холоден: он ни с кем не дружил, со всеми был на “вы”, и я не помню, чтоб когда-нибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. Его “душа” воистину была “чужая” и как таковая, для всех нас, знавших его, оставалась, согласно известному изречению, всегда лишь “потемками”.

В общем, в классе он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но вместе с тем нельзя сказать, что его любили, скорее – его ценили. Помимо этого, в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство над всеми нами, хотя надо отдать ему справедливость – сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал».

## 1 марта 1881 года

Конечно, классическая гимназия не сахар. Но именно в ней за 8 лет учебы Владимир Ульянов получил основы самых различных знаний, два иностранных и два древних языка, прочитал всю русскую литературную классику, и, между прочим, именно в гимназии его научили писать...

Начиная с 4-го класса Керенский стал давать ученикам сочинения на «свободные» темы. Были там и сугубо назидательные, например «В чем должна выражаться любовь детей к родителям». Но более всего Федор Михайлович стремился воспитать у своих подопечных умение видеть красоту родной природы. И эти темы, соответственно, преобладали: «Описание весны», «Наводнение», «Волга в осеннюю пору», «Зимний вечер» и т. д. Впрочем, были и «репортажные» сюжеты, которые просто развивали наблюдательность, такие как «Ярмарочный день в городе». Так или иначе, но за все сочинения Владимир неизменно получал «пять».

Неизвестно, какой «ярмарочный день» имел в виду Керенский. Но если бы это был 1879 год, то тогда на торговой и базарной площадях Симбирска все читали «Объявление» министра внутренних дел Л.С. Макова о том, что слухи о «черном переделе» земли, распространяемые среди крестьян «злонамеренными людьми, неосновательны, ибо Государь Император подтверждает незыблемость частной собственности»<sup>52</sup>.

Ну а если бы речь шла о мартовской ярмарке 1881 года, то в этот день весь город читал экстренное сообщение:

«Сегодня, 1 марта... при возвращении Государя Императора с развода... совершено было покушение на священную жизнь Его Величества, посредством брошенных двух разрывных снарядов... Разрыв второго нанес тяжелые раны Государю. По возвращении в Зимний дворец Его Величество сподобился приобщиться Святых тайн и затем в бозе почил – в 3 часа 35 минут пополудни».

В.Н. Назарьев писал известному литератору П.В. Анненкову, что эта весть пришла «в Симбирск во время ярмарки, при огромном стечении народа... Мужики всячески старались добыть первое роковое объявление, платили бог знает какие деньги и увозили домой»<sup>53</sup>. А еще через день поползли слухи, что в одном из сел близ Симбирска крестьяне отказались идти на панихиду, а более смелые открыто заявили: «Зачем мы будем молиться за того, кто не дал и не хочет дать нам настоящей воли... Мы уж лучше будем молиться о студентах, которые хотят для нас настоящей воли»<sup>54</sup>.

Позднее В.Г. Короленко писал: «Я еще помнил, хотя это было в детстве, радостное оживление первых годов после освобождения крестьян, вызванное им в лучших элементах общества... Но скоро оказалось, что Александр II был гораздо ниже начатого им дела и слишком скоро изменил ему. От молодого царя, произносившего освободительные речи, к концу 70-х годов остался жалкий, раскаивающийся и испуганный реакционер...»<sup>55</sup>

Нельзя сказать, что убийство царя явилось полной неожиданностью. Открытая «охота» террористов-народовольцев на Александра II шла более двух лет. В августе 1878 года они хотели взорвать пристань в Николаеве, куда должен был сойти император. 2 апреля 1879-го на Дворцовой площади в государя стрелял А.К. Соловьев. В июле в Симферополе в него вновь готовились бросить бомбу. А всю осень того же года шла подготовка взрыва царского поезда под Одессой и под Александровом. 19 ноября под Москвой взрыв произошел, но под откос полетел не царский, а обычно следовавший за ним – свитский состав, на этот раз из предосторожности их поменяли местами. 5 февраля 1880 года столяр Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце. Разрушено было помещение главного караула, пол в царской столовой, но государь, запоздавший на обед, не пострадал. В мае опять рыли подкоп для динамита в Одессе. В августе закладывали мины под Каменный мост в Петербурге. В январе 1881 года – под Малой Садовой улицей, где проезжал император... И о каждом из этих покушений подробно писала и мировая, и российская, и провинциальная пресса.

В одном из воззваний Исполкома «Народной воли», найденном и доставленном И.Н. Ульянову в 1880 году из сызранского училища, говорилось: «Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников, сосланных в Сибирь за отстаивание мирских интересов, протест против администрации и кулачества. В интеллигенции – десятки тысяч человек нескончаемой вереницей тянутся в ссылку, в Сибирь, на каторгу, исключительно за служение народу... Александр II – главный... виновник судебных убийств; 14 казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об отмщении; он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные».

И вот 1 марта 1881 года это свершилось...

Выступая на суде, один из руководителей террористов-народовольцев – Андрей Желябов так объяснил причины перехода народников к террору: «Русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами. В нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною. Движение, крайне безобидное по средствам своим, разбилось исключительно о многочисленные преграды, которые встретило в лице тюрем и ссылок. Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное – было подавлено. По своим убеждениям я оставил бы эту форму борьбы насиль-

ственной, если бы только явилась возможность борьбы мирной, т. е. мирной пропаганды своих идей, мирной организации своих сторонников»<sup>56</sup>.

Другой руководитель «Народной воли», Софья Перовская заявила: «Кто знает нашу жизнь и условия, при которых нам приходилось действовать, не бросит в нас ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости...»<sup>57</sup>

Надежда Крупская, которой в то время уже исполнилось 12 лет, вспоминала: «Впопыхах влетел старый товарищ отца по корпусу, военный, и стал рассказывать подробности убийства, как взорвало карету, и проч. «Я вот и креп на рукав купил», – сказал он, показывая купленный креп. Помню, я удивилась тому, что он хочет носить траур по царю, которого всегда ругал. А потом еще вот что подумала. Этот товарищ отца был очень скупой человек, и я подумала: «Ну, если он разорился, креп купил, значит, правду рассказывает». Я всю ночь не спала. Думала, что теперь, когда царя убили, все пойдет по-другому. Однако так не вышло»<sup>58</sup>.

На младшее поколение семьи Ульяновых и их ближайших друзей убийство царя, судя по всему, должного впечатления не произвело. Вспоминая о детских играх, в которых участвовал и Володя Ульянов, Миша Фармаковский – сын инспектора народных училищ – рассказывал, как, нарисовав взрыв, он стал комментировать его приятелям: «А вот убивают царя! Вот летит рука, нога!..» Старушка няня опешила: «Что ты, что ты, батюшка! Теперь и стены слышат!»<sup>59</sup>

Ну а те, кто постарше, с детства помнили Пушкина:

Самовластительный злодей,  
Тебя, твой трон я ненавижу,  
Твою погибель, смерть детей  
С жестокой радости вижу...

Анна и Александр Ульяновы читали и тот томик Некрасова, где вместо вымаранных цензурой строк стояли точки и рукой отца Ильи Николаевича было вписано:

Иди в огонь за честь отчизны,  
За убежденья, за любовь...  
Иди и гибни безупречно.  
Умрешь не даром: дело прочно,  
Когда под ним струится кровь...

Но отец вписывал эти слова в молодости, теперь же убийство царя стало для Ильи Николаевича ударом. И дети его восприняли с удивлением, как он, надев свой парадный мундир, ушел в собор на панихиду. «Для него, прошедшего лучшие молодые годы при Николае I, царствование Александра II, особенно его начало, было светлой полосой, – писала Анна Ильинична. – Он был против террора».

Незадолго до этого, в ноябре 1880 г., Илья Николаевич отметил 25-летие своей службы и отправил прошение об оставлении его в должности еще на пять лет. Но министр просвещения отказал, продлив срок службы лишь на один год. Для семьи это было бы просто катастрофой. Только после мартовских событий, с назначением нового министра – А.П. Николаи, на новое прошение Ульянова от 1 ноября 1881 года было дано 30 декабря согласие. Так что до 1887 года Илья Николаевич работой был обеспечен.

Обида, конечно, осталась. За 10 лет службы в Симбирске он построил 151 школу, и теперь в губернии исправно функционировало более 400 народных училищ. И похвалы на сей счет симбирцы могли принимать по праву. 1 января 1882 года И.Н. Ульянова наградили четвертым орденом – Святого Владимира 3-й степени. Но, увы! Время похвал по поводу успехов



народного просвещения – кончилось... С восшествием на престол Александра III начались совсем иные веяния.

Их сформулировал бывший либерал, профессор Московского университета С.А. Рачинский. По его мнению, руководство российских народных училищ совершенно оторвалось от народа и не понимает его «истинных потребностей». Крестьянам не нужны все эти новейшие педагогические изыски и сомнительные истины естественных наук. Они хотят, чтобы дети их умели читать Часослов, Псалтырь, другие богослужебные книги и петь в церковном хоре. Поэтому главным учителем должен стать священник.

Менялись взгляды и на методы воспитания, в частности на телесные наказания. Князь В. Мещерский, считавший себя духовным наставником Александра III, в редактируемой им газете «Гражданин» писал: «Прекрати сечь, исчезла власть. Как нужна соль русскому человеку, как нужен черный хлеб русскому мужику – так ему нужны розги. И если без соли пропадет человек, так без розог пропадет народ... Човеколюбие требует розог»<sup>60</sup>.

На местах «сигнал сверху» был принят. Друг министра графа Толстого богатый сызранский помещик Д. Воейков, выступая на уездном земском собрании, упрекал народные училища за то, что, вырывая крестьянских детей из привычной им среды, они воспитывают людей, «составляющих угрозу для порядка»<sup>61</sup>.

Инспектор симбирских народных училищ К.М. Аммосов 17 марта 1882 года писал своему коллеге В.И. Фармаковскому: «Начальное народное образование чуть ли не возвращается опять к тем временам, когда оно состояло больше на бумаге, чем в действительности. Грустно»<sup>62</sup>.

И.Н. Ульянов со своим неизменным кучером Дуниным метался по губернии, спорил, доказывал, писал письма... Но остановить наступление церковников был уже не в силах. Число церковноприходских школ росло с каждым годом за счет утеснения и «преобразования» народных училищ, особенно чувашских. Теперь уже и губернская земская управа сформулировала свое мнение о том, что дети крестьянские сильны должны быть лишь в знании «слова Божия и пения духовного», в умении читать и считать на счетах. Не более того»<sup>63</sup>.

А 13 июня 1884 года были опубликованы официальные «Правила о церковноприходских школах», которые фактически закрепляли ведущую роль священников в светской системе народного образования. Тот же князь Мещерский подчеркивал, что если реформа 1861 года дала мужику свободу и хлеб, то теперь, наконец, он получит и «духовную» пищу»<sup>64</sup>.

Инспектор симбирских народных училищ А.А. Красев писал 12 июля 1884 года: «Местное духовенство... уличает нас в весьма неумелом и неискреннем отношении к вопросам школьного законоучительства и вообще набрасывает на нас такие тени, от которых может не поздоровиться всем нам в настоящее время»<sup>65</sup>. А известный педагог-просветитель Н. Бунаков об этом времени вспоминал: «Вести живое и полезное дело при таких условиях было невозможно: и здравый смысл, и простая добросовестность заставляла уйти со сцены до более благоприятных времен»<sup>66</sup>.

И для Ильи Николаевича это были грустные времена. Он все больше и больше начинал опасаться за судьбу детей. И если с Александром и Анной он любил прежде беседовать на общественно-политические темы, то теперь – с младшими – уже «никакого подчеркивания в смысле общественных идеалов не делал»<sup>67</sup>.

Еще в 1880 году Анна окончила с большой серебряной медалью Мариинскую гимназию и с осени 1881-го пошла преподавать в начальную народную школу. А в августе 1883 года, окончив гимназию с золотой медалью, отправился в Петербургский университет Александр. Вслед за ним на филологическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов уехала в столицу и Анна<sup>68</sup>.

Но беспокойство за их судьбы лишь усилилось. Газеты сообщали о студенческих волнениях в Петербурге, Москве, Киеве. И когда летом 1885 года Александр и Анна приехали на каникулы в Симбирск, отец решил поговорить с сыном.

«Отец с братом, – рассказывает Дмитрий Ильич, – гуляли на средней аллее сада. Гуляли очень долго и говорили о чем-то тихо и чрезвычайно сосредоточенно. Лица их были как-то особенно серьезны... Иногда говорили горячо, но больше тихо, чуть внятно... Я совершенно убежден, что описанный разговор был на политические темы... Мои предположения вполне подтверждаются словами отца, сказанными Анне Ильиничне, уезжавшей в Петербург: “Скажи Саше, чтобы он поберег себя хоть для нас”»<sup>69</sup>.

То обстоятельство, что Илья Николаевич являлся важным государственным чиновником министерства просвещения, ко многому обязывало детей и раньше. Все его знали, и сыновья и дочери прекрасно понимали, что должны беречь престиж отца. А если они забывали об этом, Мария Александровна напоминала.

В Кокушкине, когда они бродили по лесам и полям, Илья Николаевич любил напевать студенческую песню на слова А. Плещеева:

По духу братья мы с тобой,  
Мы в искупленье верим оба.  
И будем мы питать до гроба  
Вражду к бичам страны родной.

И вот, уже в Симбирске, играя у себя во дворе, эту песню запела Аня. Мать остановила ее и сказала:

– Не надо эту песню петь в городе. Можно навредить отцу. Ведь враги у всех есть. Скажут: «Вот какие запрещенные песни распевают во дворе директора народных училищ».

Значит, надо было учиться помалкивать.

Это обстоятельство, возможно, как-то объясняет и другую кажущуюся «странность».

В те годы, когда Александр и Владимир учились в Симбирской гимназии, в ней – как и во многих других учебных заведениях России – выпускалась своя подцензурная литература и существовали различного рода нелегальные кружки и группы.

В 1878 году в Симбирске их создавал выпускник Казанского университета, учитель словесности В.И. Муратов. В 1883 году образовался нелегальный гимназический кружок во главе с Валентином Аверьяновым, учившимся одно время вместе с Александром Ульяновым. В следующем году в гимназии стала создаваться нелегальная библиотека. С помощью казанских студентов в нее попали работы Маркса, Энгельса, Лассалья, гектографированные революционные издания.

Слухи о ней дошли и до жандармов, и до Ф.М. Керенского. И после ареста нескольких гимназистов в августе 1885 года и повальных обысков, о которых знал весь город, библиотеку конфисковали. Но осенью того же года группа старшеклассников во главе с Аполлоном Коринфским стала выпускать нелегальный рукописный журнал «Дневник гимназиста», в котором помещались также и материалы социалистического толка.

Но ни Александр, ни Владимир Ульяновы во всех этих предприятиях участия не принимали, хотя и знали о них. А. Коринфский пишет, что Владимир «всякий раз просматривал с интересом все эти “журналы”... читал, интересовался, но сам не принимал ни в одном из этих “изданий” участия как сотрудник».

Исследователь Ж.А. Трофимов, сопоставляя все факты, справедливо предполагает, что Илья Николаевич, по своему служебному положению получавший от жандармов запросы и соответствующую информацию, наверняка «на эту тему беседовал и с сыном Владимиром и предупредил о необходимости быть осмотрительным в делах такого рода».

И все-таки атмосфера вокруг И.Н. Ульянова продолжала сгущаться. Мария Ильинична писала: «Начальство ценило в нем исполнительного и ревностного работника, но стало косо поглядывать на него впоследствии, видя, что он недостаточно согласует свою работу с духом времени. А он оставался и в 80-е годы все тем же “шестидесятником, идеалистом”, не способен был подделываться под новый курс...»<sup>70</sup>

После отъезда Александра и Анны в Петербург Владимир остался старшим из детей в доме. И вся драма отца происходила на его глазах...

В конце 1885 года, когда Илья Николаевич приехал в Сызрань, он узнал, что тамошнее земское собрание не только выразило свою солидарность с курсом на всемерное развитие церковноприходских школ и усиление «духовно-нравственного» воспитания. Правые земцы выразили также и сомнение в том, что с этой задачей может справиться нынешняя «дирекция училищ Симбирской губернии». Это был открытый вотум недоверия лично Ульянову<sup>71</sup>.

«В декабре 1885 года, будучи на третьем курсе, – рассказывала Анна Ильинична, – я приехала опять на рождественские каникулы домой, в Симбирск. В Сызрани я съехала с отцом, возвращавшимся с очередной поездки по губернии, и сделала вместе с ним путь на лошадах. Помню, что отец произвел на меня сразу впечатление сильно постаревшего, заметно более слабого, чем осенью... Помню также, что и настроение его было какое-то подавленное, и он с горем рассказывал мне, что у правительства теперь тенденция строить церковноприходские школы, заменять ими земские. Это означало сведение насмарку дела всей его жизни. Я только позже поняла, как тягостно переживалось это отцом, как ускорило для него роковую развязку»<sup>72</sup>.

Прибыли они домой 25 декабря, когда у Владимира, Ольги и Дмитрия начались рождественские каникулы. Но отцу было не до елки и не до праздников. Илья Николаевич уединился в кабинете и стал писать отчет за 1885 год.

Встретили Новый год. Пришло известие, что 1 января Ульянов И.Н. был удостоен пятого ордена – Святого Станислава 1-й степени с муаровой лентой через плечо. 6 января собрались немногие сослуживцы. Илья Николаевич даже польку станцевал с Аней. Но пришла и другая весть: министр просвещения И.Д. Делянов вместо просимых пяти лет оставлял Ульянова на службе лишь на год, который истекал 1 июля 1887 года<sup>73</sup>.

10 января Илья Николаевич занемог. Врач констатировал «гастрическое состояние желудка». А 12 января на руках у Марии Александровны, Анны и Владимира он скончался от кровоизлияния в мозг на 55-м году жизни.

В обширном некрологе, опубликованном после похорон, говорилось: «Все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, г. вице-губернатор, директор и многие учителя гимназии, кадетского корпуса и духовной семинарии и все читатели памяти покойного (а кто в Симбирске не знал и не уважал его), и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного. Высшие лица симбирского духовенства... совершили краткую литию. Гроб с останками покойного *был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями...*»<sup>74</sup>

Вот так, по такому печальному поводу, и состоялось *первое упоминание* в печати Владимира Ульянова.

## Старший сын в доме

После похорон и окончания рождественских каникул Анна в Петербург не поехала, а задержалась дома почти на два месяца. Часто и долго прогуливаясь по зимнему саду, где можно было без помех «отвести душу», она беседовала с Владимиром и о житейских, семейных делах, и о жизни вообще.

«Он был настроен, – вспоминала Анна Ильинична, – очень оппозиционно к гимназическому начальству, к гимназической учебе, к религии также, был не прочь зло подтрунить над учителями (в кое-каких подобных шутках и я принимала участие), одним словом, был, так сказать, в периоде сбрасывания авторитетов, в периоде первого отрицательного, что ли, формирования личности... Но вне такого отрицательного отношения к окружающему – для него главным образом к гимназии – ничего определенно политического в наших разговорах не было». И она заключила: «Определенных политических взглядов у Володи в то время не было...»<sup>75</sup>

И уж коли Анна Ильинична упомянула о религии, то, видимо, именно этой зимой – еще при жизни отца – произошло событие, о котором, со слов Владимира Ильича, рассказала Крупская.

У отца сидел какой-то педагог, с которым Илья Николаевич говорил о том, что дети плохо посещают церковь.

Володю, присутствовавшего при начале разговора, отец усла с каким-то поручением. И когда, выполнив его, Владимир проходил мимо, гость с улыбкой сказал:

– Сечь, сечь надо.

Тогда, выбежав во двор, Володя сорвал с шеи крест и бросил его на землю<sup>76</sup>.

И, отвечая в 1922 году на вопросы анкеты всероссийской переписи коммунистов: «Имеется ли какие-либо религиозные верования... Если Вы неверующий, то с какого возраста?» – Владимир Ильич ответил:

– Нет... С 16...<sup>77</sup>

Лев Николаевич Толстой снял с себя крест в 15 лет...

А вот Илья Николаевич Ульянов так и остался до конца дней своих глубоко верующим человеком. Его религиозное чувство, писала Анна Ильинична, «было, так сказать, глубоко “чистым”, чуждым всякой партийности и какой-либо приспособляемости к тому, что “принято”. Это было религиозным чувством Жуковского, поэта, любимого отцом, религиозным чувством гораздо более любимого Некрасова, выразившимся, например, в поэме “Тишина”, отрывки из которой отец любил цитировать, именно то место, где говорится о “храме божием”, пахнувшим на поэта “детски чистым чувством веры...”

Дома дети видели искренне убежденного человека, за которым шли, пока были малы. Когда же у них складывались свои убеждения, они просто и спокойно заявляли, что не пойдут в церковь... и никакому давлению не подвергались»<sup>78</sup>.

Дети принадлежали уже к другому поколению, которое, как писала Крупская, «росло в условиях, когда, с одной стороны, в школах, в печати строго преследовалось малейшее проявление неверия, с другой – радикальная интеллигенция отпускала насчет религии всякие шуточки, острые словечки. Существовал целый интеллигентский фольклор, высмеивающий попов, религию, разные стихи, анекдоты, нигде не записанные, передававшиеся из уст в уста»<sup>79</sup>.

К этому поколению принадлежал и Антон Павлович Чехов. «Я давно растерял свою веру, – писал он как-то С.П. Дягилеву, – и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего». А когда Сергей Павлович рассказал ему о религиозных поисках вполне достойных и образованных людей, Антон Павлович ответил: «Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философски-религиозные общества ни собирались... Религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».

Впрочем, Чехов не был бы Чеховым, если бы он тут же не добавил: «Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, само

по себе, а вся современная культура сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы».

Стоит лишь добавить, что в этом «безбожии» русской демократической интеллигенции было гораздо больше истинной веры – веры в народ, в его способность открыть России дорогу в будущее, нежели в постах и покаяниях «набожного» мещанства, старавшегося замолить бездуховную греховность всего уклада своей жизни.

«Бог – это правда, любовь, справедливость, – говорил известный народник А.Д. Михайлов, – и в этом смысле с чистой душой я говорю о Боге, в которого верую». В этом же смысле своим подвижничеством такая интеллигенция скорее напоминала тех первых христиан, которые в беззаветном стремлении избавить людей от страданий были всегда готовы к самопожертвованию. И не только интеллигенция. Программа 1878 года «Северного союза русских рабочих» призывала «воскресить учение Христа о братстве и равенстве, быть апостолами нового, но, в сущности, только непонятого и позабытого учения Христа».

А в 1881 году, выступая на суде, приговорившем его к повешению, Андрей Желябов сказал о себе так: «Крещен в православии, но православие отвергаю, однако признаю сущность учения Иисуса Христа. Верю в истинность и справедливость этого учения, исповедую, что вера без дела мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и, если нужно, за них и пострадать»<sup>80</sup>.

О том же, между прочим, писал позднее и Александр Федорович Керенский: образ Христа, по его мнению, стал источником «юношеской веры, которая впоследствии воплотилась... в идею самопожертвования во имя народа. На этой вере зиждился революционный пафос»<sup>81</sup>.

Но вернемся к Ульяновым. Теперь отца уже не было, и на осиротевшую семью сразу же обрушилась уйма проблем. 24 апреля Мария Александровна обратилась к попечителю учебного округа с просьбой о денежной помощи: «Пенсия, к которой я с детьми моими представлена за службу покойного мужа моего, получится, вероятно, не скоро, а между тем нужно жить, уплачивать деньги, занятые на погребение мужа, воспитывать детей, содержать в Петербурге дочь на педагогических курсах и старшего сына»<sup>82</sup>.

Тянул время и окружной суд. «Все оставшееся после мужа имущество, – писала туда Мария Александровна, – заключается в домашней движимости и капитале в две тысячи рублей, находящемся в Симбирском городском общественном банке по билету оногo № 12465». Но и этими накоплениями – до решения суда о вступлении в права наследования – она воспользоваться не могла<sup>83</sup>.

Пришлось срочно сдать жильцам всю фасадную половину дома. Мать перебралась наверх к дочерям, а Владимир к Дмитрию. В конце концов, лишь на пятый месяц ожидания, в мае, решение о назначении всему семейству пенсии в 1200 рублей в год состоялось<sup>84</sup>.

В мае из Петербурга вновь приехала Анна, а с нею и Александр. На похоронах отца Саши не было. В конце 1885 года он представил на конкурс естественного отделения физико-математического факультета работу «Исследование строения сегментарных органов пресноводных». Но жюри известило о своем решении лишь в начале февраля: А.И. Ульянов награждался золотой медалью с надписью «Преуспевшему». И 8 февраля при ее вручении ректор И. Андреевский назвал Александра «гордостью университета».

То, что Сашу оставят при кафедре для подготовки к профессорскому званию, было очевидно, как и то, что он становился теперь главной опорой семьи. Поэтому, посоветовавшись, решили перебраться в Петербург. В мае четыре раза давали объявление о продаже дома с

садом. Но подходящего покупателя тогда не нашлось. А позже, учитывая дороговизну жизни в столице, решили до окончания гимназии Владимиром и Ольгой оставаться в Симбирске.

Смерть Ильи Николаевича породила свои сложности и во внутрисемейных отношениях. Оставаясь «старшим мужчиной» в доме, 16-летний Владимир стал проявлять строптивость по отношению к матери...

Строг был по отношению к своим дочерям покойный Александр Дмитриевич Бланк. Воспитывал их в каждодневном труде. Увлеченный своим «водолечением», он экспериментировал и на них – если, к примеру, кто-то простуживался и начинался жар, немедленно заворачивал в мокрые холодные простыни. И помогало. И, несмотря на все строгости, дочери любили и уважали его.

Что-то от этой педагогической «системы» переняла, видимо, и Мария Александровна. Классный наставник Владимира А. Федотченко в июне 1886 года записал в кондуитном списке: «Живет у родителей под самым бдительным надзором». Говоря о том, что жесткая «система» была правильной «только для брата Владимира», Анна Ильинична деликатно добавляла: «Для всех нас – особенно для девочек, страдавших потом от некоторого недоверия к своим силам, – были бы полезны в небольшой дозе и похвалы».

Но сторонники жесткого режима и контроля – и в воспитании детей, и в управлении государством, даже если благотворное воздействие этого режима не подвергалось сомнению, – всегда должны быть готовы к тому, что со временем, или же с ослаблением контроля, «бунт» или «срыв» становятся естественными и чуть ли не неизбежными.

«Володя, – рассказывает Анна Ильинична, – переживал тогда переходный возраст, когда мальчики становятся особенно резки и задирчивы. В нем, всегда очень бойком и самоуверенном, это проявлялось особенно заметно, тем более тогда, после смерти отца, присутствие которого действует всегда сдерживающе на мальчиков». И особенно смущало и коробило Анну, что «его насмешливость, дерзость, заносчивость проявлялись по отношению к матери, которой он стал отвечать порой так резко, как никогда не позволял себе при отце».

Анна поделилась своими наблюдениями с Александром и спросила:

– Как тебе наш Володя?

– Несомненно, человек способный, но мы с ним не сходимся...

– Почему?

– Так.

Но однажды Александр, также очень болезненно реагировавший на отношение Владимира к матери, все-таки высказался.

«Как-то раз, когда братья сидели за шахматами, к ним подошла Мария Александровна и «напомнила Володе какое-то требование, которое он не исполнил. Володя отвечал небрежно и не спешил исполнить. Мать, очевидно, раздраженная, настаивала. Володя ответил опять какой-то небрежной шуткой, не двигаясь с места.

– Володя, или ты сейчас же пойдешь и сделаешь, что мама тебе говорит, или я с тобой больше не играю, – сказал тогда Саша спокойно, но так твердо, что Володя тотчас встал и исполнил требуемое».

Те, кто пытался вложить в слова Александра «мы с ним не сходимся» смысл политический, видя в них чуть ли не начало разногласий народников с марксистами, явно грешат против истины. Как в начале 1886 года, когда Анна из бесед с Владимиром заключила, что его идейное самоопределение еще не наступило, так и летом в Кокушкине стало очевидно, что до политической ориентации ему еще далеко. Именно там в последнее для братьев совместное лето 1886 года, когда Саша упорно штудировал труды Маркса, Володя лежал рядом на своей кровати и с упоением читал и перечитывал повесть Тургенева «Андрей Колосов» об искренности в любви.

Каникулы кончились, Аня и Саша уехали в Петербург, и как стали бы развиваться далее внутрисемейные отношения, трудно сказать. Но однажды в начале марта 1887 года прибежала

их хорошая знакомая Вера Васильевна Кашкадамова и сообщила, что из столицы пришло письмо с сообщением об аресте Саши, а вместе с ним и Анны...

Для всех без исключения членов семьи и родственников, мало того, даже для однокурсников и преподавателей Александра в университете, это был гром среди абсолютно ясного неба.

Приехав осенью 1883 года в столицу, Александр – как и в Симбирске – отдавал все свое время учебе. Его друг Иван Чеботарев писал: «Я принимал тогда деятельное участие в поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичом о вступлении его в члены этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его, Анной Ильичиной. Но сочувствия не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этого “благовоспитанны”. Приехали в Питер только “учиться” и заниматься “чистой наукой”, а не “политикой”»<sup>85</sup>. И уже с первых курсов Ульянов обращает на себя внимание таких всемирно известных ученых, как Д.И. Менделеев, М.А. Бутлеров, затем зоолога Н.П. Вагнера. И наконец, золотая медаль за работу о кольчатых червях.

Но бурная общественная жизнь университета так или иначе постепенно затягивала и Александра. В ноябре 1885 года, в день именин М.Е. Салтыкова-Щедрина, вместе с депутацией студентов и курсисток-бестужевков Александр и Анна приходят на квартиру опального писателя с приветственным адресом. Тогда же он начинает ходить на лекции известного ученого В.И. Семевского по истории российского крестьянства. А когда в январе 1886 года профессора увольняют из университета за возбуждение «в молодых умах негодования к прошлому», то есть крепостничеству, Александр вместе с другими 309 студентами подписывает приветственный адрес Семевскому и вместе с Анной ходит к нему на квартиру для завершения курса лекций<sup>86</sup>.

19 февраля, в день 25-летия «Великой реформы», он впервые участвует в демонстрации на Волковом кладбище, где студенты отслужили панихиду по «врагам крепостничества» и возложили венки на могилу Н.А. Добролюбова и других писателей-демократов. А в марте 1886 года Александр вступает в студенческое научно-литературное общество и здесь знакомится с О. Говорухиным, И. Лукашевичем, П. Андреюшкиным и В. Генераловым<sup>87</sup>.

Его избирают секретарем общества, но и тогда он продолжает сторониться нелегальных организаций.

Орест Говорухин прямо утверждал, что и на третьем курсе Ульянов «не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования», а о студентах, причастных к ним, говорил: «Болтают много, а учатся мало». Когда же Говорухин все-таки поставил перед ним вопрос о вступлении в организацию, Александр ответил:

– В революционные организации не вступаю потому, что я не решил еще многих вопросов, касающихся лично меня, а что еще важнее, вопросов социальных. Да и вряд ли скоро вступлю.

– Почему?

– Потому – больно уж сложны социальные явления. Ведь если естественные науки, можно сказать, только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны, только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же представляют собой социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение – иное не имеет никакого смысла, – а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того, безнравственно профану медицины лечить болезни; еще более смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их.

И прежняя всепоглощающая страсть Александра к наукам естественным дополняется теперь такой же страстью к наукам общественным. Он старательно штудировал «Капитал» Маркса, его же работу «К критике гегелевской философии права», первые труды Г.В. Плеха-

нова «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия». И постепенно он все больше склоняется к социалистическим идеям в их марксистской интерпретации.

Но в полном соответствии с изучавшимися им законами природы, где малая причина способна привести к большим последствиям, одно событие круто изменило эволюцию его взглядов. Таким событием стала так называемая добролюбовская демонстрация 17 ноября 1886 года.

Памятуя о том, что демонстрация 19 февраля прошла удачно, ибо полиция проворонила ее и прибыла слишком поздно, студенческие организации решили провести ее вторично, в день 25-летия со дня смерти Добролюбова. Но на сей раз «стражи порядка» не дремали, и когда полторы тысячи студентов подошли к Волкову кладбищу, оно было окружено отрядом полиции во главе с полицмейстером. После криков возмущения и начавшихся было стычек с полицией группе студентов разрешили пройти к могиле и возложить венки. Эта маленькая победа еще более возбудила демонстрантов, и, помитинговав, они с песнями двинулись в центр к Казанскому собору. Но Лиговку перегородили конные казаки во главе с градоначальником генералом Грессером<sup>88</sup>.

Участник этого шествия М. Брагинский рассказывает: «В продолжение всей демонстрации – а она длилась с утра до поздних сумерек – Ульянов был в сильно приподнятом настроении... Его настроение достигло крайней степени возбуждения, когда огромная толпа демонстрантов была остановлена цепью конных казаков и когда появился градоначальник генерал Грессер. Я находился в этот момент вблизи Ульянова, шедшего все время под руку со своею сестрой Анной Ильиничной и положительно заражавшего всех своим боевым настроением. Точно электрическим током всего пронизало его при виде ненавистной фигуры Грессера. С побледневшим лицом, с загоревшимися гневом глазами Ульянов с криком “вперед!”, увлекая за собой других, устремился навстречу подходившему к нам градоначальнику, точно собираясь уничтожить его тут же, на месте»<sup>89</sup>.

Но казаки, обнажив шашки, окружили демонстрантов, и началась «филтрация». Шел дождь, и мокрые, продрогшие студенты, стоявшие несколько часов прямо в лужах, выслушивали оскорбления и брань казаков, пока демонстрантов переписывали, а затем либо выпускали, либо арестовывали. Более 40 человек сразу же выслали из столицы. И именно здесь – после эйфории победного шествия – Александр впервые испытал то чувство приводящего в отчаяние бессилия и мерзейшего, мучительного унижения, которого не испытывал никогда прежде.

В листовке «17 ноября в Петербурге», написанной им на следующий день и размноженной на гектографе, говорилось: «У нас на памяти немало других таких же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества. Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности»<sup>90</sup>.

В конце 1886 года будущая писательница Валентина Ивовна Дмитриева встретила Александра на вечеринке своих знакомых Хренковых. Хозяин квартиры – «непротивленец с полумистическим уклоном», поклонник философа Владимира Соловьева, отвергал террор и осуждал акцию 1 марта 1881 года, которая, по его мнению, лишь «привела к взаимному ожесточению и кровопролитию». Он часто повторял слова Ариэля из шекспировской «Бури»: «Прощение – выше мести...»

И вот во время вечеринки «кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта доказал свою полную несостоятельность и что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда, и все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить, бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой...»<sup>91</sup>.



И тут Дмитриева заметила Александра: «Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом, он сидел в уголке, молчал и исподлобья поглядывал на присутствующих. По-видимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, в выражении лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то такое самоуглубленное, сосредоточенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя, особая, страшно важная и захватывающая идея»<sup>92</sup>.

А спор между тем разгорался, «поднялся шум, слышались отдельные слова: “Революция. Эволюция. Статистика страшнее динамита. Агрономия – вот главная задача”. А Хренков неторопливо и проникновенно пытался умирить эту бурю мнений.

– Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших. Ибо зло питается злом.

И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил легкий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка.

– Чудаки! Корочкой хлебца хотят человечество осчастливить...

К нему подошел Хренков.

– Вы что-то сказали, коллега?

– Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротавление злу – вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

– А по-вашему, что же нужно?..

– Это, знаете ли, длинная история, а мне пора уходить. В другой раз когда-нибудь»<sup>93</sup>.

Эволюция взглядов Александра завершалась. Он принимал основные выводы марксизма и знал, что достижение конечных целей и идеалов станет возможным при достаточной зрелости общества. Он знал и то, что для продвижения к этой «зрелости» необходим хотя бы минимум свободы. И он пришел к убеждению, что принудить правительство к подобным «послаблениям» сможет только террор. И когда в самом конце 1886 года по инициативе студентов Петра Шевырева и Ореста Говорухина начинает складываться ядро «Террористической фракции партии “Народная воля”», Ульянов примыкает к ним и вместе с Иосифом Лукашевичем приступает к изготовлению «метательных снарядов»<sup>94</sup>.

Студент Сергей Никонов вспоминал: «Идея царубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»<sup>95</sup>

Ульянов был не из тех, кто ждет, когда кто-то возьмет *это* на себя. От исполнения своего долга он не уклонялся никогда. И, придя к выводу о необходимости «лечения социальной болезни» с помощью теракта, он сразу стал действовать. А с отъездом Шевырева в Ялту, а Говорухина в Женеву подготовка покушения в значительной мере вообще легла на его плечи. К концу февраля 1887 года боевая группа метальщиков (В. Осипанов, П. Андреюшкин и В. Генералов) была готова...

И все это время, готовя динамит, инструктируя боевиков, Александр продолжал аккуратно ходить на лекции, вести лабораторные исследования. Именно в эти дни он взял и новую научную тему по изучению органа зрения у какого-то вида червей<sup>96</sup>.

Между тем уже с октября 1886 года вся студенческая группа, в которую входил Ульянов, была «под колпаком». А после того как Андреюшкин в перехваченном письме харьковскому приятелю намекнул на предстоящий акт, охранка уже ни на секунду не спускала с них глаз. И когда 1 марта 1887 года метальщики – в ожидании проезда Александра III в Петропавловскую крепость на панихиду по отцу – вышли на Невский, их тут же схватили. За несколько последующих дней арестовали и остальных.

4 марта в печати появилось краткое сообщение: «1-го сего марта, на Невском проспекте, около 11 часов утра задержано трое студентов С.-Петербургского университета, при коих, по обыску, найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что принадлежат к тайному преступному сообществу, а отобранные снаряды, по осмотру их экспертом, оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином»<sup>97</sup>.

## Аттестат зрелости

Когда В.В. Кашкадамова получила в Симбирске от Екатерины Ивановны Песковской (урожденной Веретенниковой) известие о событиях в Петербурге и аресте Александра и Анны, она тотчас послала в гимназию за Владимиром и вручила ему письмо. Он прочел, «долго молчал. Передо мной, – вспоминает Кашкадамова, – сидел уже не прежний бесшабашный, жизнерадостный мальчик, а взрослый человек, глубоко задумавшийся над важным вопросом. “А ведь дело-то серьезное, – сказал он, – может плохо кончиться для Саши”»<sup>98</sup>.

В прежних биографиях Ленина рассказывалось о том, как именно в эти дни перепуганное симбирское либеральное общество отшатнулось от Ульяновых и они оказались в полнейшей изоляции. Но это произошло позже. Как установил Ж.А. Трофимов, в первой половине марта никто из симбирцев, в том числе и губернское начальство, не мог иметь сведений об аресте Александра и Анны, а уж тем более об участии Ульянова в покушении на государя. Не подозревали этого Мария Александровна и Владимир, полагая, видимо, что волна студенческих арестов в связи с задержанием террористов случайно прихватила и Сашу с Аней. Так что за фразой о том, что арест «плохо кончится для Саши», могло стоять лишь опасение исключения из университета<sup>99</sup>.

Было, впрочем, одно настораживающее обстоятельство...

Довольно известный столичный публицист Матвей Леонтьевич Песковский, муж Екатерины Ивановны Веретенниковой, 3 марта обратился к директору Департамента полиции П.Н. Дурново с прошением: «Ульянов – очень дельный, чисто кабинетный, до угрюмости нелюдимый человек, зарекомендовавший себя блестящими успехами в науке... Ульянова – барышня в лучшем смысле слова, совершенно чуждая всего того, что может шокировать девушку...» Максимум, что может быть поставлено им в вину, какое-нибудь случайное «компрометирующее знакомство». А посему он просил освободить их под его «личное поручительство».

Но в тот же день Лесковский узнал, что прошение его оставлено без последствий. Вот тогда-то, 3 марта, о случившемся и написали в Симбирск<sup>100</sup>.

Письмо пришло к Кашкадамовой, видимо, 9 марта, и Мария Александровна, оставив семью на Владимира, выехала в Петербург. Уже 14-го, прибыв в столицу, она подала прошение о свидании с сыном. Но лишь после окончания следствия, 30 марта, Александр III, начертав на прошении: «А что же до сих пор она смотрела!» – свидание разрешил<sup>101</sup>. И только тогда из протоколов допросов сына, показанных ей, узнала Мария Александровна о сути дела и полном признании Сашей своей руководящей роли в организации покушения.

Свидание состоялось 1 апреля и продолжалось два часа. «Он плакал и обнимал ее колени, прося простить причиняемое ей горе, – вспоминала рассказ матери Анна Ильинична, – он говорил, что кроме долга перед семьей у него есть долг и перед Родиной. Он рисовал ей бесправное, задавленное положение Родины и указывал, что долг каждого честного человека – бороться за освобождение ее...»

– Да, но эти средства ужасны, – возразила мать.

– Что же делать, если других нет, мама, – ответил он»<sup>102</sup>.

Поскольку до суда, который должен был начаться 15 апреля, новых свиданий не разрешили, Мария Александровна сразу же вернулась в Симбирск, где у детей уже начались пас-

хальные каникулы. Она рассказала старшим о свидании и о том, что, если Саше дадут пожизненную каторгу, она с младшими детьми уедет за ним в Сибирь. 10 апреля поздравили с 17-летием Владимира, и в тот же день Мария Александровна вновь отправилась в Петербург.

13-го каникулы кончились, и Владимир пошел в гимназию, но все его мысли были там – в столице. 15 апреля начался суд. И именно в этот день Ф.М. Керенский устроил контрольное сочинение на тему «Причины благосостояния народной жизни», одним из пунктов которого был вопрос о «правильной организации государственного устройства». Что думал В. Ульянов об этом и что написал – неизвестно. Сочинение не сохранилось. Но, возвращая его, Керенский впервые сделал Владимиру замечание: «О каких это угнетенных классах вы тут пишете, причем это тут?» На перемене одноклассники обступили Владимира: «Что поставил?» На сочинении, как всегда, стояла «пятерка»<sup>103</sup>.

А Верховный суд империи, начавшись 15-го, уже 19 апреля завершил работу: все 14 подсудимых приговаривались к смертной казни. Теперь приговор должен был утвердить государь, и еще оставалась надежда, что прошение на высочайшее имя смягчит участь осужденных. И поэтому пресса по-прежнему хранила молчание относительно дела «первомартовцев».

Мария Александровна вновь получила свидание с сыном и стала уговаривать его подать прошение о помиловании. Но Александр отказался. «Представь себе, мама, – сказал он, – что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться, в свою очередь, оружием. Нет, я не могу поступить так...»

Эти слова и последнюю просьбу Александра – достать ему томик Генриха Гейне – записал товарищ прокурора Князев, присутствовавший на свидании. И он же выполнил эту просьбу – купил и передал «смертнику» сборник стихотворений Гейне<sup>104</sup>.

А у Владимира именно в эти дни начинались выпускные экзамены на аттестат зрелости. Александр Наумов рассказывает, что за неделю до экзаменов ему и другим одноклассникам (за взятку) удалось получить из Учебного округа задачи по письменной математике, все диктовки и тему сочинения – «Характеристика Бориса Годунова по произведениям Пушкина». Но через несколько дней прошел слух, что об «утечке» узнали и темы всех письменных работ изменены. Среди выпускников началась паника. И единственный, как пишет Наумов, кто не принял участия во всей этой «постыдной истории», был Ульянов: «Очевидно, ему, с его поразительной памятью и всесторонней осведомленностью, было совершенно безразлично»<sup>105</sup>.

5 мая за сочинение «Царь Борис» по произведению А.С. Пушкина «Борис Годунов» В. Ульянов получил первую «пятерку». 7 мая он выполнил на «пять» письменную работу по латыни. На следующий день с утра была письменная математика. И именно в это утро, когда Владимир решал задачи, во дворе Шлиссельбургской тюрьмы началась казнь...

Семи осужденным Александр III заменил смертный приговор каторгой на сроки от 10 до 20 лет, двое – Лукашевич и Новорусский, подавшие прошение о помиловании, вместо виселицы получили пожизненную каторгу, и все они в 1905-м попали под амнистию и вышли на свободу. 8 мая 1887 года приводился в исполнение приговор над теми, кто отказался просить государя о милости.

На рассвете к виселице вывели Генералова, Андреюшкина и Осипанова. Они простились друг с другом, поцеловали крест и были повешены. Когда трупы убрали, во двор вывели Ульянова и Шевырева. Подошел священник. Ульянов приложился к кресту, а Шевырев отказался. Оба взойшли на эшафот, и через мгновение все было кончено... И гром не грянул, и земля не разверзлась...

Валентинов, хорошо знавший революционную среду тех лет, написал: «При всем своем увлечении химией, естественными науками и “Капиталом” Маркса Александр был, конечно,

религиозной натурой, жаждущей жертвенного подвига, готовый отдать свою жизнь за идеи, проникнутые любовью к человеку».

Но ничего о событиях этого дня Владимир еще не знал. 8 мая он опять получил «пятерку» и стал готовиться к следующему экзамену. Но с утра 10 мая было опубликовано правительственное сообщение о казни. В Симбирске его расклеили чуть ли не на каждом столбе, и теперь о случившемся узнали все. «Я была слишком мала, – вспоминала Мария Ильинична, – чтобы понять весь ужас происшедшего, и меня, как это ни странно, больше поразили вид Владимира Ильича, через его горестные слова о брате я начала усваивать значение случившегося».

И тем не менее 12 мая он сдает на «пять» письменный экзамен по алгебре и тригонометрии, а на следующий день – письменный по греческому. 22 мая начинаются устные экзамены, и Владимир получает свою «пятерку» по истории и географии. И в тот же вечер из Петербурга приезжают мать и Анна, высланная под надзор полиции в Кокушкино.

Мать была в ужасном состоянии, и о случившемся он узнал из рассказов Анны. Единственная фраза Владимира, которую запомнила Кашкадамова: «Значит, Саша не мог поступить иначе, значит, он должен был поступить так».

А экзамены продолжались: 27 мая – Закон Божий, 29-го – латынь, 1 июня – устный греческий, и, наконец, 6 июня – устная арифметика, алгебра, геометрия и тригонометрия. На последних экзаменах «пятерки» уже получали лишь двое-трое: В. Ульянов и претендовавшие на серебряную медаль А. Наумов и А. Писарев.

В аттестате зрелости Владимира стояло 17 «пятерок» и одна «четверка» – по логике, которую, кстати сказать, преподавал в 7-м классе Ф.М. Керенский. В сложившейся ситуации она вполне могла бы стать поводом для отказа в золотой медали. Но этого не случилось. 10 июня педагогический совет постановил «наградить его, Ульянова, ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ». Тут было и признание заслуг и труда самого Владимира, на протяжении восьми лет шедшего из класса в класс «первым учеником». И память о заслугах его отца, к которому преподаватели испытывали чувство глубокого уважения. Так или иначе, но медаль открыла ему дорогу для поступления в университет.

Ныне почему-то нередко полагают, что в прежние времена, когда число образованных людей в России было невелико, все они представляли из себя достаточно однородное целое. Между тем уровень образования сближал отнюдь не всегда. И вполне образованный граф Михаил Николаевич Муравьев, дабы не путали его с еще более образованным декабристом Сергеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом, любил повторять, что он «не из тех Муравьевых, *которых* вешают, а из тех, *которые* вешают». И позднее, когда судили Софью Перовскую, главным ее обвинителем, настаивавшим на повешении, выступал двоюродный внук Михаила Николаевича Николай Валерьянович Муравьев. А ведь лет за двадцать до этого Сонечка Перовская, дочь петербургского губернатора, и Николенька Муравьев, любимый сынок псковского губернатора, были неперенными соучастниками веселых детских игр, ибо их высокообразованные семьи дружили между собой.

И наконец, в 1887 году прокурором по делу Александра Ульянова, требовавшим его повешения, был не кто иной, как Николай Адрианович Неклюдов, который буквально обожал своего учителя в Пензенском дворянском институте Илью Николаевича Ульянова. Говорят, что после казни Александра он даже занемог нервным расстройством. Но скоро выздоровел. И к 1895 году дослужился до высокой должности товарища министра внутренних дел.

Проявилось другой своей стороной и симбирское «общество». Все те, кто совсем недавно искал встреч и знакомства с семьей директора народных училищ, теперь отворачивались при встрече, а потом шептались за спиной. Даже самые, казалось бы, близкие...

Молодой инспектор народных училищ Иван Владимирович Ишерский проработал с Ильей Николаевичем десять лет. К своему шефу и его семье он относился трепетно, с огромным уважением. А бывая в доме Ульяновых, с удовольствием пел своим приятным голосом

душевные романсы под аккомпанемент Марии Александровны. И каждый раз – от глубины чувств – повторял: «Ах, под этот чудесный аккомпанемент поется особенно легко...»

Теперь, заняв пост директора народных училищ губернии, Ишерский никого из Ульяновых, как говорится, «не видел в упор».

И Ольга Ульянова рассказывала в одном из писем, как зашла она с подругой Ниной Стржалковской на почту и встретила там своих бывших гимназических учителей – тех самых, которые присудили ей за отличные успехи такую же золотую медаль, как и Владимиру. «Они кланялись Нине, а меня как будто и не замечали или не узнавали»<sup>106</sup>, – с горечью писала Ольга.

Впрочем, симбирская либеральная публика была ничем не хуже столичной. Ректор Петербургского университета профессор полицейского права Андреевский – тот самый, который в феврале 1886 года назвал Александра Ульянова «гордостью университета», 6 марта 1887 года писал о нем как о «невыносимом позоре». И в адресе государю повергал «к священным стопам Вашего Величества чувства верноподданнической преданности и горячей любви», дабы не лишал он университет своей монаршей милости<sup>107</sup>.

Так что долго размышлять о том, куда поступать учиться и какую избрать профессию, Владимиру не приходилось. Университет – Казанский, ибо он находился в том учебном округе, где работал отец. Да и факультет был очевиден – юридический, ибо он давал возможность не служить в системе государственных учреждений, закрытых для брата «государственного преступника», а иметь более свободную профессию – адвоката в частной конторе присяжного поверенного.

Но этот выбор определялся не только подобного рода сугубо прагматическими соображениями. Своему двоюродному брату Николаю Владимир сказал: «Теперь такое время, нужно изучать науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал бы другие науки...»

Остаться в Симбирске не было теперь никакого смысла, и еще 30 мая 1887 года в «Симбирских губернских ведомостях» вновь появилось объявление: «По случаю отъезда продается дом с садом, рояль, мебель. Московская улица, дом Ульяновой». И на сей раз покупатель на дом, сад и мебель нашелся быстро. 15 июня их приобрел за 6 тысяч рублей коллежский советник А.Н. Минин. А вот с роялем не захотели расстаться.

Накануне отъезда назначили распродажу оставшейся мебели и всякой всячины, которую решили не брать с собой в Казань. То-то радость была для соседок и кумушек, судачивших столько лет об Ульяновых, но так и не имевших возможности переступить порог их дома...

Кашкадамова рассказывает, как входили они с постными скорбными лицами, бегающими глазами обшаривали все вокруг и начинали причитать:

– Ох, матушка, горе-то у вас какое.

Мария Александровна встречала их холодно и повторяла одну и ту же фразу:

– Вам что угодно? Вы пришли что-нибудь купить?

Кумушки и мечтать не смели о том, что спустя сто с лишним лет, в 90-е годы XX столетия, все сплетни и слухи, распускавшиеся ими, вдруг выплеснут на телеэкраны, на страницы пухлых монографий, популярных брошюр, журналов и газет.

Опираясь на свидетельства соседей, многие годы подсматривавших через дырки в заборе за жизнью Ульяновых, одни «лениноеды» станут утверждать, что Мария Александровна на самом деле была провинциальной Мессалиной, эдакой «жрицей свободной любви». И старший сын Александр был рожден ею от Дмитрия Каракозова, а младший – Дмитрий – от домашнего врача Ивана Покровского. Потому-то, мол, и стал Александр «цареубийцей», а Дмитрий – врачом.

Но им возражают другие «лениноеды», которые уверены, что от Ивана Покровского Мария Александровна родила вовсе не Дмитрия, а самого Владимира Ильича. И что когда

она раскрыла ему эту страшную тайну, о которой, естественно, знали все соседи, Владимир демонстративно отказался от своего отца Ильи Николаевича.

Третьи, опираясь на показания иных соседей, видимо, подглядывавших непосредственно в замочную скважину, станут доказывать, что на самом деле все было наоборот: Мария Александровна – это кроткая и святая женщина, всецело посвятившая себя семье и детям. А вот муж ее Илья Николаевич – прелюбодей и развратник, не пропускавший во время служебных командировок ни деревенских девок, ни молоденьких учительниц.

Пусть простит читатель за пересказ этой пошлятины. Можно лишь надеяться, что лживые «труды» эти, не делающие чести ни их авторам, ни их издателям, останутся лишь печальными памятниками того лихолетья, которое Россия пережила в 90-е годы XX века.

Не знаю, были ли известны Владимиру Ильичу все эти грязные сплетни, ходившие вокруг их семьи. Но презрение к сплетникам и кумушкам он сохранил на всю жизнь. И спустя много лет Ленин напишет: «...болтать и сплетничать... подогревать темные слухи, ловить и передавать дальше намеки, – о, интеллигентские кумушки такие мастера на это!.. Каждому свое. У каждого общественного слоя свои “манеры жизни”, свои привычки, свои склонности. У каждого насекомого свое оружие борьбы: есть насекомые, борющиеся выделением вонючей жидкости». И он заключает: «Кто видел хоть раз в жизни эту среду сплетничающих интеллигентских кумушек, тот, наверное (если он сам не кумушка), сохранит на всю жизнь отвращение к этим мерзостным существам».

Сразу же после продажи дома семья уехала в Кокушкино.

Это лето 1887 года, помимо окончания гимназии, было связано еще с одним важным событием, как бы сказали нынче – с «новым прочтением» романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?».

Казнь брата, помимо сугубо личного потрясения, связанного с потерей близкого и любимого человека, порождала множество вопросов. Как и почему избрал он этот тернистый путь? Долг перед народом, перед Отечеством? Да, это свято, и это бесспорно! Да, пример отца показал, что надежды на постепенное реформирование и просвещение России в нынешних условиях оказались иллюзорными. Но разве исполнение своего долга перед Родиной обязательно связано с динамитом и гремучей ртутью?

В прошлое лето в Кокушкине Александр препарировал своих червей, которые вызывали у Владимира глубочайшее отвращение. Казалось, он был настолько погружен в науку, что до всего иного ему не было никакого дела. Но помимо этого он еще и много читал. И Владимир вспомнил давние восторженные отзывы брата о романе Чернышевского. Еще в гимназии Владимир попробовал читать «Что делать?», но тогда особого впечатления он на него не произвел. Теперь он решил вновь перечитать его.

Результат был ошеломляющим...

В 1904 году Ленин рассказывал дальней своей родственнице Марии Эссен: «Я роман “Что делать?” перечитал за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли». И Крупская подтверждает, что знал он роман до самых «тончайших штрихов» и «мельчайших подробностей»<sup>108</sup>.

Как-то в том же 1904 году Николай Валентинов в присутствии Владимира Ильича небрежно заметил по поводу «Что делать?»: «Диву даешься, как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное»<sup>109</sup>.

Услышав это, Ленин «взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул закрипел.

– Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? – бросил он. – Недопустимо называть примитивным и бездарным “Что делать?”. Под его влиянием сотни людей делались революционерами... Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепыхал. Когда вы читали “Что делать?”? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло.

Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял его глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь»<sup>110</sup>.

И главный вывод, который извлек Владимир из романа, состоял в том, что в России «всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером...»<sup>111</sup>.

На том и закончилась его юность...

## Глава 2

### «Брат повешенного»

#### Казань

В июле 1887 года семья Ульяновых переезжает в Казань. А 29 июля Владимир подает прошение о приеме на юридический факультет Императорского Казанского университета. Но фамилия Ульянова была слишком хорошо известна ректору Н. Кремлеву, и на прошении появляется резолюция: «Отсрочить до получения характеристики». В Симбирск направляют запрос. И теперь уже все зависело от характеристики Керенского.

Документ этот являлся конфиденциальным, и о его содержании ни Владимир, ни его близкие знать не могли. Но Федор Михайлович Керенский проявил если не мужество, то порядочность, написав 10 августа, что «ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение. За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители... В основе воспитания лежали религия и разумная дисциплина».

Керенский не стал затрагивать обязательные для характеристики вопросы об отношении к «социальным вопросам» и «превратным учениям» и в заключение написал: «Присматриваясь ближе к домашней жизни и характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости и чуждаемости от общения даже со знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами и вообще нелюдимости».

«Религия и разумная дисциплина» в сочетании с «чуждаемостью от общения» вполне устраивали университетское начальство. И 13 августа на прошении Ульянова появляется новая резолюция: «Принять». С этого дня Владимир становится студентом и подает новое прошение – об освобождении от платы за обучение. На факультете просьбу поддержали, и 8 сентября правление университета включило его в списки лиц «православного вероисповедания», нуждающихся в данной льготе «на основании свидетельств о бедности, баллов по аттестатам зрелости и характеристик гимназий». 12-го списки утвердили далее по инстанции. Но, видимо, уже в Петербурге Ульянова из «льготников» исключили: судя по всему, для чиновников министерства просвещения память о его брате была еще слишком свежа<sup>112</sup>.

Память об Александре Ульянове будет еще долго сопровождать Владимира. Если в глазах начальства она станет предостережением и напоминанием об «опаснейшем государственном преступнике», то в студенческой среде – это повод для повышенного интереса и постоянного ожидания чего-то необычного и «ужасно революционного». И, вырвавшись из стен гимназии, с ее ежеминутным надзором за учениками, впервые окунувшись в студенческую «вольницу», Владимир просто обязан был оправдывать эти завышенные надежды.

Так что «нелюдимостью» и «излишней замкнутостью» он начальство не порадовал. Судя по воспоминаниям В.В. Адоратского, из университетской профессуры Владимир запомнил лишь присяжного поверенного профессора Н.В. Рейнгардта и профессора истории русского права Н.П. Загоскина. «Ну, – говорил он приятелю, направляясь в аудиторию к Загоскину, – пошли слушать лекцию о русском бесправии»<sup>113</sup>.

Впрочем, занятия Владимир посещал уже не столь исправно, как в гимназии. Достаточно сказать, что в ноябре он присутствовал на лекциях лишь 8 дней<sup>114</sup>.

Гораздо больше его привлекала та студенческая жизнь, которая буквально бурлила в университете.



Сразу после зачисления Владимир дал расписку, в которой, согласно существовавшим правилам, обязался «не состоять членом и не принимать участия в каких-либо сообществах, как, например, землячествах и т. п., а равно не вступать членом даже в дозволенные законом общества без разрешения на то в каждом отдельном случае ближайшего начальства...»<sup>115</sup>. Но формальная расписка несколько не помешала ему вступить в упомянутое землячество.

В это время в университете функционировало 8 нелегальных землячеств-кружков, пользовавшихся среди студентов огромным авторитетом. Они поддерживали связи с аналогичными организациями в Петербурге, Москве и других университетских городах. Имели свои библиотеки с нелегальной литературой. И наиболее крупным среди них являлось как раз симбирское землячество. В его работе Владимир принял активное участие и сразу же был избран представителем в Совет землячеств университета.

В работе землячества участвовали и те, кто уже находился в поле зрения полиции: Л. Богораз, Н. Подбельский, С. Полянский, студенты Ветеринарного института И. Воскресенский, К. Выгорницкий, П. Дахно, Н. Мотовилов, А. Скворцов, а также высланные из Петербурга социал-демократки А. Амбарова, Ю. Белова. И контакты с ними Владимира были сразу же зафиксированы полицией. «Департамент придает особое значение, – сообщалось губернскому жандармскому управлению, – сношениям Богораза и Скворцова с Воскресенским, Константином Выгорницким и Владимиром Ульяновым, в особенности же с последними двумя, так как Выгорницкий был близок и состоял в сношениях с государственным преступником Андреюшкиным, казненным совместно с братом Владимира Ульянова по делу 1 марта 1887 года».

Именно в это время – в июне – министр просвещения И.Д. Делянов издал циркуляр, вошедший в историю как «циркуляр о кухаркиных детях», который в несколько раз повышал плату за обучение в университетах и закрывал доступ в гимназии детям «низших сословий». Тогда же утвердили и Университетский устав, лишавший университеты остатков автономии и запрещающий сходки, собрания и любые студенческие организации. Одновременно существенно расширялись права «инспекторов студентов», т. е., говоря современным языком, инспекторов «по режиму», которым фактически предоставлялись полицейские функции надзора и сыска.

Протест против указанных «нововведений» начался в университетах России с самого начала учебного года. Особого накала достиг он в ноябре. 23–25 ноября выступление московских студентов было жестоко подавлено полицией и казаками. Двоих студентов убили. В ноябре начались волнения и в Казани.

5 ноября студенты демонстративно бойкотировали торжественный акт годовщины университета. В последующие дни под видом танцевальных вечеров они собираются по квартирам, обсуждают план дальнейших действий и готовят листовки и петицию с требованием демократических реформ в университетах. На некоторых из этих встреч – как представитель симбирского землячества – присутствовал и Владимир.

А.М. Горький, работавший тогда в Казани, дал в «Моих университетах» коллективный портрет тамошнего студенчества: «Шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шепота по углам. Приносили с собой толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась... Я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но – не тонула в нем... Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу».

28 ноября в Казань приходит письмо из Москвы с информацией о расправе над студентами. Возбуждение достигает предела. 3 декабря утверждается окончательный текст петиции. На 4-е назначается сходка.

В одном из полицейских донесений сообщалось: «Ульянов Владимир... еще за два дня до сходки подал повод подозревать его в подготовке чего-то нехорошего: проводил время в курительной, беседуя с Зегрждой, Ладыгиным и др., уходил домой и снова возвращался, принося по просьбе других что-то с собой и вообще шушукаясь...»

4 декабря к 11 утра в вестибюле, в шинельной и курилке стали собираться группы студентов. Около 12 с криками «На сходку, товарищи, на сходку!» они рассыпались по аудиториям, собирая всех в актовывй зал. Двери его были заперты, но их взломали, и начался митинг. Сюда же пришла и большая группа студентов Ветеринарного института.

О том, какое настроение господствовало среди собравшихся, рассказал ставший позднее писателем участник событий Евгений Чириков: «До сих пор не могу забыть пережитых ощущений. Вся душа трепетала под наплывом особого гражданского чувства и пылала жадой гражданского подвига. Войди в зал солдаты и потребуй, под угрозами пуль, оставить зал, – мы не моргнули бы глазом и остались! Пропала логика разума, осталась только логика сердца. В каком-то экстазе я вскарабкался на кафедру и закричал, потрясая кулаками:

– Товарищи! Поклянемся, что мы все, как один человек, будем отстаивать наши требования, не предадим друг друга и, если будет нужно, принесем себя в жертву царящему произволу!

Дружный взрыв криков: «Клянемся!», поднятые к небу руки, какой-то вопль жаждущей подвига молодости... А затем – речи с разных пунктов огромного зала: с кафедры, со стульев, с подоконников»<sup>116</sup>.

И тут в зале появился ненавистный «инспектор студентов» Потапов. Он стал угрожать войсками, полицией, и тогда студент-юрист К. Алексеев влепил ему пощечину. Потапов бежал, а явившемуся ректору Кремлеву вручили петицию, начинавшуюся словами: «Собрало нас сюда не что иное, как сознание невозможности всех условий, в которые поставлены русская жизнь вообще и студенческая в частности, а также желание обратить внимание общества на эти условия и предъявить правительству наши следующие требования»<sup>117</sup>.

Сходка завершилась около 16 часов. А помощники Потапова, служители и осведомители уже строчили свои отчеты. Буквально о каждом. И именно на их основе, характеризуя «зачинщиков», попечитель написал министру Делянову, что 4 декабря В. Ульянов «бросился в актовывй зал в первой партии и вместе с Полянским первыми неслись с криком по коридору 2-го этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других; уходя же со сходки, отдал свой входной билет»<sup>118</sup>.

Дома он пишет прошение ректору: «Не признавая возможным продолжать мое образование в университете при настоящих условиях университетской жизни, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского университета»<sup>119</sup>.

На прошении он ставит дату – 5 декабря 1887 года. Однако в ночь на 5-е он был арестован и вместе с 40 другими студентами помещен в пересыльную тюрьму.

«Несмотря на арестантские халаты, в которые нас нарядили, на то, что большинство более суток не ели... на массу паразитов на нарах, – рассказывает участник сходки Е. Фосс, – среди молодежи царило радостное, веселое возбуждение, сочиняли прозой и стихами воззвания “на волю”, пели революционные и просто студенческие песни, рассказывали о всевозможных эпизодах последних дней и пр. и пр. Владимир Ильич был все время молчалив, сосредоточен и не принимал никакого участия в общем оживлении. Кому-то пришлось в голову произвести “анкетный” опрос товарищей по заключению, кто что думает предпринять по освобождении... Когда очередь дошла до студента Ульянова, он после некоторой паузы, как бы очнувшись от

задумчивости, слегка улыбнувшись, сказал, что перед ним одна дорога, дорога революционной борьбы». В другой публикации этих воспоминаний Е.Н. Фосс передает ответ Владимира точнее: «Мне что ж думать. Мне дорожка проторена старшим братом». И сразу в камере стихли шум и смех. Жутко и неловко стало всем от этого простого, без всякой аффектации, ответа.

Размышляя над тем, что же определило жизненный путь Владимира Ульянова, некоторые авторы дают самый простой ответ: он мстил за повешенного брата. Но можно ли объяснять подобного рода выбор лишь причинами сугубо личного свойства?

А за кого мстила дочь петербургского генерал-губернатора Софья Перовская? Или орловский дворянин, генеральский сын Зайчневский? Или потомок старинного рода тверских дворян Михаил Бакунин? А Мартов и шестеро его братьев и сестер, выросших в достаточно благополучной семье?

Значит, существовали и иные мотивы, помимо сугубо «личных», определявшие жизненный выбор. И коль скоро речь идет о людях образованных, то несомненно, что один из них – интеллектуальные веяния данного времени, идеи и мысли, господствующие в обществе. А с тех пор, как Петр Лавров в 1868 году написал о неоплатном долге перед народом, идея борьбы за его освобождение доминировала в среде передовой интеллигенции. Витала она и в той камере казанской пересыльной тюрьмы, в которую попал Владимир Ульянов.

В воскресенье, 6 декабря, освободили и выслали из Казани первую партию арестованных. Публика, собравшаяся у здания полиции, встречала их аплодисментами и приветственными криками, в сани летели пакеты с подарками. «...Общество, – писала Ольга Ульянова подруге, – отнеслось к студентам сочувственно: им прислали 300 рубл. в первые же дни арестов и высылки из Казани, также шубы и шарфы, потому что многим студентам не в чем ехать. Казанские дамы прислали им табаку и папирос, а гимназисты, особенно 1-й гимназии, отдавали все свои деньги, у кого были – часы, некоторые – даже свои шубы»<sup>120</sup>.

7 декабря выпустили и Владимира. Он тоже высылался из Казани в Кокушкино, где с 23 июля 1887 года уже находилась под гласным надзором полиции старшая сестра Анна. Вечером того же дня вместе с матерью и сестрой Марией он выехал из Казани в санной кибитке. И до городской заставы их неотступно сопровождал полицейский чин, дабы убедиться, что приказ о «выдворении» исполнен.

## Кокушкино

В Кокушкине Владимир поселился во флигеле, в угловой комнате с окнами на север, где прежде жил Александр Петрович Пономарев<sup>121</sup> – друг А.Д. Бланка и второй муж его дочери Любови Александровны, за которого она вышла в 1870 году после смерти Александра Федоровича Ардашева.

В комнате стояла «деревянная койка на козлах, на стене полка с книгами, простой шкаф, два-три стула, складная табуретка, стол. Тут же, рассказывает Н. Веретенников, стоял у двери столярный верстак: его хотели убрать, но Володя сказал, что убирать не надо – на него можно класть книги...»<sup>122</sup>.

Будущее представлялось весьма туманным. На семейном совете решили, что по прошествии некоторого времени надо будет попытаться либо восстановиться в Казанском университете, либо поступать вновь в любой другой российский университет. А пока Владимир мог сколько угодно играть на стареньком бильярде, стоявшем в самой большой комнате флигеля, читать, гулять, бродить по окрестным лесам, охотиться. Но ни бильярд, ни охота не заладились.

Поначалу, как бы вновь переживая случившееся, он находился в крайне возбужденном, или, как пишет Анна Ильинична, в «повышенном настроении». Взявшись «с большим задором» за письмо приятелю с подробным рассказом о студенческой сходке, Владимир – как это часто бывает – именно теперь находил те самые слова, которые не были сказаны тогда. Он

прохаживался по комнате, пишет Анна Ильинична, и «с видимым удовольствием» зачитывал «те резкие эпитеты, которыми он награждал инспектора и других властей предрежущих».

Но письмо так и не было отправлено, возбужденное настроение прошло. А тут еще ударили январские морозы. И Владимир целиком погрузился в чтение, ибо содержимое книжных полок и шкафа Александра Петровича Пономарева было поистине примечательным.

«Кажется, никогда потом в моей жизни, – рассказывал Ленин зимой 1904 года Вацлаву Воровскому, – даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику, очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой состязались, кто скорее и больше выучит его стихов. Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах “Современник”, “Отечественные записки”, “Вестник Европы”. В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия.

Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в “Современнике” я прочитал до последней строчки, и не один раз... Я читал Чернышевского “с карандашиком” в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант – меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти... Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский».

Но эти слова о Марксе были сказаны зимой 1904 года. А тогда, в Кокушкине, зимой 1887/88 года Владимир о Марксе так еще не думал. «В бывших у меня в руках журналах, – рассказывал он, – возможно, находились статьи и о марксизме, например статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать – читал ли я их или нет. Одно только несомненно... они не привлекли к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня. На это наталкивали очерки В.В. (Воронцова), Глеба Успенского, Энгельгардта, Скалдина».

«Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли, и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве и литературе, и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля... Это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу».



Дом Ульяновых в Симбирске (ныне Ульяновск)

Но, повторяю, там, в Кокушкине, «встреча» с Марксом еще не произошла. В книжном шкафу покойного А.П. Пономарева его трудов не было. И «до знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова, – говорил Воровскому Ленин, – главное, *подавляющее* влияние имел на меня *только* Чернышевский, и началось оно с “Что делать?”. Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления».

При всех возможных неточностях этой записи В.В. Воровского ее значение неопределимо. Прежде всего она перечеркивает многочисленные байки о том, что Ленин уже чуть ли не в гимназии стал марксистом и переводил на русский язык «Капитал» Маркса. Но главное даже не в этом. Она дает ключ к пониманию многих вопросов, связанных с формированием личности Ленина. Еще бы, ведь речь идет о том, «каким должен быть революционер» и «как к своей цели он должен идти...».

И вот, вдохновленный этой идеей, Н.В. Валентинов приступает к «реконструкции». Он перечитывает статьи Чернышевского и выделяет в них те места, которые, по его мнению, могли оказать столь мощное воздействие на юного Владимира. Но начинается он с романа «Что делать?».

Простудировав 475 страниц романа, Валентинов извлекает из него следующий пассаж, который якобы не только утверждает «*исключительность*» революционеров, или, как выражался Чернышевский, «новых людей», но и ставит их *над* прочими «низкими людьми»: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли». И в этом акафисте «*избранности*» революционеров, полагает Валентинов, как раз и заключалась та главная идея романа, которая привлекла и «перепახала» Владимира Ульянова<sup>123</sup>.

То, что людей, готовых бороться за свое и чужое человеческое достоинство, было в то время совсем немного, – это факт. В этом смог убедиться и сам Владимир. В 1887 году в Казанском университете обучалось 918 студентов. В сходке участвовали лишь 256, а уволили по прошению и исключили – 164<sup>124</sup>. Так что элемент «исключительности» «протестантов» по отношению к общей студенческой массе и тут имел место.

Но при чем здесь «избранность», если Чернышевский постоянно повторяет в романе, что успеху «может служить только одушевление массы» и на той высоте, на которой стоят

«новые люди», – «должны стоять, могут стоять все люди». И уж если говорить о главном, то ведь роман-то совсем о другом.

О том, что же делать тем, кто отвергает жизнь, основанную на несвободе, насилии и произволе. И о том, что нельзя обрести истинного душевного комфорта, если ты не осознал неразрывности личных интересов с общественными, если душа твоя не сопереживает, не разделяет судьбы своего отечества, если ты выгораживаешь свою жизнь из общего поля жизни своего народа и уходишь от «дел общественных». Ибо, как считал Чернышевский, без таких дел жизнь есть не что иное, как «злаязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае – бессмысленная пошлость».

Заметил ли эту мысль романа Владимир? Видимо, да, ибо много лет спустя, как бы подводя некоторые итоги, он станет оценивать их именно по этой шкале и напишет, что судьбой его стала прежде всего борьба против пошлости – пошлости самой жизни, пошлости политиков, пошлости оппортунизма... И, как результат, – «ненависть пошляков из-за этого»<sup>125</sup>.

Впрочем, чтение чужих мыслей: заметил – не заметил, оценил – не оценил – занятие малопочтенное и малопродуктивное. Особенно когда за ним легко угадывается желание во что бы то ни стало найти подтверждение собственных мыслей автора.

Но именно так происходит и с Валентиновым. В кругу кокушкинского чтения 18-летнего юноши он ищет то «чертово семя», которое через 30 лет явит миру «кровавого и безжалостного диктатора». И, препарируя статьи Чернышевского, Валентинов набирает коллаж цитат, которые, по его мнению, содержат апологию насилия и призывают не брезговать любыми средствами ради достижения поставленной цели.

«Великие люди, – цитирует он Чернышевского, – едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо... И Суворов, и Наполеон, да и все великие полководцы, начиная с Александра Македонского, известны тем, что *не жалели жертв* для одержания победы. Их сражения были вообще *страшно кровопролитными*. Мы не хотим решать – хорошая ли вещь военные победы, но решайтесь – прежде чем начнете войну – *не жалеть людей*. То же самое надобно сказать и о всех *исторических делах*. Если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, не принимайтесь за него»<sup>126</sup>.

А вот и другая цитата: «Политический вождь должен быть решительным и, раз поставив себе определенную цель, *идти беспощадно до конца*». Вот, заключает Валентинов, «чему наставлял Чернышевский, иначе говоря, чему у него учился Ленин»<sup>127</sup>.

Цитаты, как говорится, «крутые», и метод анализа, предложенный Валентиновым, казалось бы, вполне оправдывает себя. Но попробуйте выйти за рамки предложенного им цитатного коллажа – и выводы его сразу же станут более чем сомнительными.

Возьмите, к примеру, предисловия к томам и комментарий Чернышевского к переведенной им «Всеобщей истории» Вебера. Из тома в том Николай Гаврилович не только отвергает деспотическую власть, подавляющую народ, не только выступает против милитаризма, против «восхищения дурным и восхваления злодейств». Он утверждает, что опыт мировой истории свидетельствует: насилие, даже если оно приводит к намеченной цели, не проходит бесследно для самих насильников.

Так, германские племена, завоевав Римскую империю, заплатили за это непомерно высокую цену, ибо многие из них в ходе войн были истреблены полностью. Монголы Чингисхана, пришедшие для покорения Европы, частью погибли при завоевании России, а остальные были разбиты оправившимися от поражений русскими. Точно так же испанцы, опустошившие в свое время Запад, в конце концов разорились сами и наполовину вымерли от голода. И наконец, славные французы, завоевавшие при Наполеоне Европу, все-таки потерпели в 1814 году поражение и в последующие годы подверглись разорению и национальному унижению.

Принципиальный вывод Чернышевского, сформулированный явно в пику российскому самодержавию, состоит в том, что отнюдь не всякое средство ведет к цели, что в середине XIX столетия «даже турецкое правительство отказалось от попыток доставлять своему народу что-нибудь хорошее насилем над ним»<sup>128</sup>.

Статьи Чернышевского, как и его роман «Что делать?», были написаны не только *в свое время*, но и *для своего времени*. И когда тот же Валентинов, в присутствии Веры Ивановны Засулич, заявил, что ему не понятно, почему люди ее поколения видели в Чернышевском «учителя жизни», она ответила:

– А вы его знаете?..

– Почему же не знаю, читал его, как все, и того, что вы и, например, Ленин в нем находите, не нашел...

– Не знаете, не знаете, не знаете, – упрямо твердила Засулич. – И вам трудно это знать. Чернышевский, стесненный цензурой, писал намеками, иероглифами. Мы умели и имели возможность их разбирать, а вы, молодые люди девятисотых годов, такого искусства лишены. Читаете у Чернышевского какой-нибудь пассаж, и вам он кажется немым, пустым листом, а за ним в действительности большая революционная мысль. Был в обращении, можно сказать, некий шифр для ясного понимания того, что, по принуждению, он выражал прикрито и очень темно. Такого шифра у вас ныне нет, а если нет, Чернышевского вы не знаете, а раз не знаете, то и не понимаете<sup>129</sup>.

И уж если в этой связи опять вернуться к «Что делать?», станет понятным, почему современники менее всего обольщались художественными достоинствами романа. Замечание Валентинова о том, что Ленин якобы ставил язык Чернышевского «в один ряд с языком Толстого и Тургенева», бьет мимо цели. Не за «высокую прозу» почитали его. И роман стоял совсем в ином ряду, где существовала своя система ценностей. И поэтому, как справедливо заметила Крупская, Владимир Ильич любил «Что делать?» – «несмотря на малохудожественную, наивную форму его»<sup>130</sup>.

А жизнь между тем шла своим чередом. И, рассказывая Воровскому о круге кокушкинского чтения, Ленин все-таки на первое место поставил «университетские курсы». Мысль о продолжении образования не покидала его. И уже 9 мая 1888 года Владимир и Мария Александровна направляют в Петербург два прошения: он – министру просвещения И.Д. Делянову, она – директору Департамента полиции П.Н. Дурново. В обоих просьба разрешить «бывшему студенту В. Ульянову» вновь поступить в Казанский университет.

Оба прошения отклоняются, а попечитель Казанского учебного округа поясняет, что родной брат казненного государственного преступника Александра Ульянова – «ни в нравственном, ни в политическом отношении лицом благонадежным пока быть не может»<sup>131</sup>.

15 июля Мария Александровна вновь обращается с прошением к графу Дурново. Но Департамент полиции и на сей раз отклоняет просьбу, считая, что прием В. Ульянова в Казанский университет преждевременен<sup>132</sup>.

В конце августа в Казань приезжает сам министр просвещения Делянов, и 31-го Марии Александровне удастся лично вручить ему еще одно прошение – о приеме Владимира в любой из российских университетов. «Сын, – пишет она, – единственная опора моей старости и троих меньших детей, оставшихся сиротами после смерти их отца, прослужившего 30 лет по министерству народного просвещения...» Ответа долго ждать не пришлось. Уже 1 сентября министр наложил резолюцию: «Ничего не может быть сделано в пользу Ульянова»<sup>133</sup>.

Тогда 6 сентября того же 1888 года Владимир пишет новое прошение на имя министра внутренних дел: «Для добывания средств к существованию и для поддержки своей семьи я имею настоятельную надобность в получении высшего образования, а потому, не имея

возможности получить его в России, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет»<sup>134</sup>.

Но и на эту просьбу Владимир получает отказ. Мало того, еще 19 августа, по решению административного отдела кабинета министерства императорского двора, его имя вносится в секретную книгу лиц, коим навсегда запрещалась государственная служба<sup>135</sup>.

Размышляя о тех факторах, которые формировали молодого Владимира Ульянова, необходимо, видимо, учитывать не только круг его чтения и знакомств, но и ту самую политику властей, которую он испытывал на себе. Позднее, в связи со студенческими волнениями 1901 года, Ленин напишет: «Поразительное несоответствие между скромностью и безобидностью студенческих требований – и переполохом правительства, которое поступает так, как будто бы топор был уже занесен над опорами его владычества»<sup>136</sup>. Точно так же и после казанской университетской ссудки 1887 года «протестантам» власть имущие фактически не оставляли выбора. Своей бездушной казенной тупостью, ломая людские судьбы, они сами плодили своих непримиримых врагов.

Впрочем, и путь противостояния режиму не сулил Владимиру розовых перспектив. Казнь брата служила тому достаточным предостережением. Да и самое мирное, сугубо просветительское «хождение в народ», даже если оно не кончалось арестом и ссылкой, могло вызвать лишь разочарование тщетностью усилий и мизерностью результатов. И об этом Владимир тоже знал не из литературы...

Летом 1888 года в Кокушкино приехала умирать его двоюродная сестра Анна Ивановна Веретенникова. Она и в прежние годы не раз бывала здесь, приезжала в Симбирск, и Владимир всегда внимательно слушал ее рассказы. Подобно героине «Что делать?» Вере Павловне, Анна Ивановна стала одной из первых в России женщин-медиков. Она отвергла предложение остаться при петербургской клинике и уехала земским врачом в глухой Белебеевский уезд Уфимской губернии. Работать, работать и работать, облегчая долю народную...

«Передумать и переиспытать во время моей службы в земстве, – рассказывала Анна Ивановна, – пришлось много, страшно много. Дверь моей избы не затворялась с утра до вечера. У меня перебивалась масса хронических больных с нагноениями, костоедой, застарелыми язвами, сифилисом, глазными болезнями. Ежедневно приходило человек тридцать-сорок, страдающих лихорадкой, с просьбой дать им горького лекарства. Так они называли хинин. Но один из членов земской управы – передаю буквально его слова – сказал, что дорогие лекарства, как, например, хинин, “вредны для мужика, потому что у него натура грубая, и, чем грубее, а главное, дешевле лекарство, тем благотворнее должно на него действовать”. Врачи не имели ни медикаментов, ни инструментов и, как большинство земских служащих, по нескольку месяцев не получали содержание»<sup>137</sup>.

Там, в деревне, она заболела чахоткой и вот теперь гасла буквально на глазах. 25 июля 1888 года Анна Ивановна скончалась, а 27-го ее хоронили, и Владимир бросил в могилу горсть земли<sup>138</sup>.

### «Мутный доклад»

В начале сентября Ульяновы вернулись в Казань всей семьей. Ходатайства Марии Александровны о необходимости лечения Анны Ильиничны возымели действие. Разрешили вернуться и Владимиру. Ссылка закончилась. И с 12 сентября они поселились в двухэтажном флигеле дома Орловой на Первой горе Арского поля. «Квартира большая, светлая, только что отделанная; при ней порядочный садик...» – писала Ольга Ильинична подруге. Кухни было две – на первом и втором этаже. И лишнюю кухню на первом занял Владимир. Она была уединен-



ней и удобней для занятий, чем верхние комнаты. Ну а ненужную плиту застелили газетами, так что получился как бы второй стол помимо кухонного<sup>139</sup>.

Но тянуло Владимира в эти дни совсем не к занятиям. Именно в начале октября он получил официальное уведомление о запрете выезда за границу для продолжения образования, и садиться после этого опять за учебники настроения не было. Впрочем, и сама Казань – после вынужденного кокушкинского затворничества – казалась чуть ли не Парижем.

Как раз в это время здесь гастролировала оперно-балетная труппа под руководством дирижера Александра Орлова-Соколовского. И ее солистом был знаменитый в те годы драматический тенор Юлиан Закржевский, выступавший на сценах Москвы и Варшавы, Венеции и Праги. Его считали кумиром молодежи – особенно студентов и курсисток. После спектаклей они буквально носили Юлиана на руках, а иной раз выпрягали лошадей и сами катили экипаж по ночным улицам.

Вершиной его творчества считалась партия Егиазара в опере Фроманталь Галеви «Жидовка», известной в современном репертуаре под названием «Дочь кардинала». И именно эту оперу слушал в октябре 1888 года Владимир.

Дмитрий Ильич рассказывает, что зал был переполнен, и сидели они «где-то высоко на галерее». Появление Закржевского на сцене поклонники его таланта встретили такой овацией, что пришлось на несколько минут прервать действие. Прошла опера прекрасно, и домой Владимир вернулся «под впечатлением слышанной музыки и... в чрезвычайно приподнятом настроении». Он все время напевал понравившиеся ему мелодии, и в частности арию Егиазара «Рахиль, ты мне дана»<sup>140</sup>.

Много лет спустя, 9 февраля 1901 года, он напишет матери из Мюнхена: «Был на днях в опере, слушал с великим наслаждением “Жидовку”: я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский) лет, должно быть, 13 тому назад, но некоторые мотивы остались в памяти»<sup>141</sup>.

А 7 ноября с сестрой Ольгой они слушали «Фауста» Шарля Гуно. И опять многие мелодии этой оперы остались в памяти на всю жизнь. Особенно запомнилась каватина Валентина: «Бог всемогущий, бог любви». Впрочем, одно место он переиначил и напевал всегда по-своему:

Там, в кровавой борьбе в час сраженья,  
Клянусь, буду первым я в первых рядах...<sup>142</sup>

После возвращения из Кокушкина Владимир начинает посещать и казанский шахматный клуб. Играть в шахматы он начал лет восьми-девяти. Играл с отцом, старшим братом, а поскольку Илья Николаевич всегда обыгрывал, достали они серьезное руководство по шахматной игре и после этого стали уже выигрывать не только у всех приятелей, но и у отца.

Теперь, в шахматном клубе, он встретил немало достойных соперников. Но особенно увлекла его игра по переписке с известным самарским адвокатом А.Н. Хардиным, знакомым с семьей Ульяновых еще по Нижнему Новгороду. По мнению М.И. Чигорина, Хардин принадлежал к числу сильнейших шахматистов России, и каждый раз, получая по почте его очередной ход, Владимир долго размышлял над ним, пытаясь разгадать логику противника. Эту партию он проиграл, но удовольствие получил огромное.

Его младший брат Дмитрий, сам заядлый шахматист, писал: «Обычно наблюдается обратное – больше нравится выигрывать, хотя бы и без особых усилий и труда. Владимир Ильич смотрел иначе: у него главный интерес в шахматах состоял в упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда почти безнадежного положения; выигрыш или проигрыш сами по себе меньше интересовали его. Ему доставляли удовольствие хорошие ходы противника, а не слабые».

С годами увлечение шахматами постепенно уходит на второй план. Другие дела и заботы оттесняют. К тому же он был, видимо, вполне согласен с мнением Лессинга о шахматах: «Для игры слишком много серьезности, для серьезного слишком много игры...» Вот и тогда, в Казани, встретив прежних знакомых по университету, познакомившись с новыми людьми, Владимир целиком погружается в бурную общественную жизнь казанского студенчества.

За те месяцы, которые он провел в Кокушкине, в этой среде произошли кое-какие важные перемены. Помимо землячеств, здесь стали возникать кружки, ставившие своей целью политическое саморазвитие и самообразование студенчества. В кружках этих все еще доминировали разные оттенки народничества и народовольчества. Но все больше давало знать о себе и новое – марксистское направление. И связано оно было с именем Николая Евграфовича Федосеева, одним из первых в Поволжье провозгласившего свою принадлежность к марксизму.

О заседании одного из казанских кружков того времени рассказывал в «Моих университетах» Горький: «В углу зажгли маленькую лампу. Комната – пустая, без мебели, только – два ящика, на них положена доска, а на доске – как галки на заборе – сидят пятеро людей... На полу у стен еще трое, и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру “Наши разногласия”, ее написал Георгий Плеханов, “бывший народовец”.

Во тьме на полу кто-то рычит:

– Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны – высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова.

– Ер-рунда, – снова рычит кто-то из угла.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит.

– Ренегат!

– Медь звенящая!..

– Это – плевок в кровь, пролитую героями.

– После казни Генералова, Ульянова.

С подоконника раздается голос юноши:

– Господа, – нельзя ли заменить ругательства серьезными возражениями, по существу?

Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня:

– Вы – Пешков, булочник? Я – Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно – здесь делать нечего, шум этот – надолго, а пользы в нем мало. Идемте?»

Именно Федосеев составлял для кружков саморазвития программы чтения марксистской литературы, обзоры и рефераты по проблемам истории и социально-экономического развития России. Среди квартир, где под видом студенческих вечеринок Николай Евграфович проводил занятия кружков, была и квартира Л.А. Ардашевой-Пономаревой, тетки Владимира, но в этот кружок он не ходил и с Федосеевым лично знаком не был, хотя и слышал о нем.

Фигура Федосеева настолько ярка, что для тех, кто изучал биографию Ленина этих лет, она как бы заслонила другие лица. А между тем на «втором плане» оказались люди, чья роль в судьбе молодого Владимира Ульянова стала довольно примечательной.

Среди новых его знакомых была вдова штабс-капитана Мария Павловна Четвергова (урожденная Орлова). Хотя к этому времени ей уже перевалило за 40, Мария Павловна, как старая народоволка, пользовалась среди казанской молодежи большим авторитетом. Еще в 1871 году она поступила в Цюрихский университет, затем училась в Вене и, получив диплом акушерки, в 1875-м вернулась в Россию. Тогда же ее арестовали по обвинению в пропаганде, выслали в Вятскую губернию и лишь в 80-е годы разрешили поселиться в Казани<sup>143</sup>.

Вокруг Четверговой сложился народovolьческий кружок, входивший в так называемую Сабунаевскую организацию. Впрочем, использовали квартиру Марии Павловны на Старо-Горшечной улице и студенческие кружки саморазвития Федосеева<sup>144</sup>. Частенько заглаживал сюда и Владимир, которого с хозяйкой квартиры более всего сближала любовь к Чернышевскому. Они могли часами обсуждать его статьи, тончайшие оттенки тех или иных мыслей. «Я не знаю другого человека, – говорил позднее Ленин Крупской, – с которым было бы столь приятно и поучительно, как с Четверговой, беседовать о Чернышевском»<sup>145</sup>.

И вот зимой 1888/89 года на ее квартире Владимир услышал доклад студента Михаила Мандельштама о «Капитале» Маркса.

Карл Радек вспоминал, как «в 1915 году на прогулках за Берн, над синей Аарой, Владимир Ильич, будучи в хорошем задумчивом настроении, рассказывал многое из своей революционной молодости. Многие из его рассказов я забыл, многое конкретное из того, что я запомнил, улетучилось...». Но самый первый эпизод запомнился. «Ильич, – пишет Радек, – попал в народovolьческий кружок. Там в первый раз он услышал о Марксе. Читал доклад студент Мандельштам, будущий кадет, и развивал в докладе взгляды “Освобождения труда”. Доклад был очень мутный, но все-таки, как сквозь туман, Ильич увидел в нем мощную революционную теорию. Он добыл первый том “Капитала”, который открыл ему новый мир»<sup>146</sup>.

Радек был известным остроловом и ради «красного словца» вполне мог несколько «расцветить» эту историю. О Марксе, к примеру, Владимир слышал, еще будучи гимназистом, потом студентом. «Капитал» видел у брата. Но тогда это как бы проскакивало мимо. И вот теперь, после «кокушкинских чтений», лекция, видимо, действительно произвела впечатление.

Сам Михаил Львович Мандельштам узнал обо всем этом, уже будучи известнейшим адвокатом, из публикации Радека в 1924 году. В свое время он учился в Петербурге, дружил с Александром Ульяновым, в 1886 году был арестован и выслан на родину в Казань. Здесь он руководил кружками учащихся, а после декабрьской сходки 1887 года его выслали в Симбирск с запретом проживания в университетских городах.

«Но начиная с зимы 1888/89 г., – рассказывал Мандельштам, – я начал нелегально наезжать в Казань и возобновил занятия в своих кружках. Теперь уже больше внимания я уделял политической экономии, особенно же отличались мои занятия этого периода от предыдущего тем, что главное внимание я начал уделять знакомству моих слушателей с творениями Маркса.

Наши собрания с зимы 1888/89 г. происходили главным образом в пригородном саду “Швейцария”, а также на квартире, пользовавшейся тогда в Казани большим авторитетом старой народovolки – Четверговой... Около Четверговой группировалось несколько старых народovolцев и отчасти учащаяся молодежь. Из моих же товарищей в этом кружке бывал Евгений Чириков, также высланный на два года (в Астрахань) и часто наезжавший тайком в Казань. Чириков в это время был еще народником, и мне приходилось спорить с ним о необходимости террора, о необходимости борьбы не только экономической, но и политической. Вообще же в кружке, кроме занятий, часто разговоры обращались в споры о народниках и народovolцах, а также о социал-демократах (вернее, о группе “Освобождение труда”).

Основная группа моих слушателей была студентами Казанского университета, отчасти и Ветеринарного института, но нередко бывали случаи, когда приходила молодежь, фамилий которых я и не знал. В тогдашней Казани было несколько кружков, смутно догадывавшихся о существовании друг друга. Но зато в самих кружках – в целях конспирации – создавалось положение, при котором фамилии участников оставались неизвестными друг другу. Лишь теперь я узнал, что в числе моих слушателей в конспиративном кружке в Казани в зиму и весну 1888/89 г. был Ленин».

Если прочесть брошюру М.Л. Мандельштама «Интеллигенция как категория капиталистического строя», изданную им в Казани зимой 1890 года, то станет понятным, почему Ленин

мог шутя назвать его лекцию «мутной»: достоинства и недостатки автора брошюры вполне очевидны. Но сам Михаил Львович на упрек в «мутности» ответил весьма остроумно: «При всей “мутности” моих лекций, именно они впервые направили Ленина на изучение Маркса. Полагаю, что это не так плохо, и что даже если б это было единственным результатом моей работы, то моя политическая жизнь была бы оправдана...

Другой мой слушатель, ныне уже старый большевик, Стопани, так отзывался о тех же лекциях: “Первый ценный урок из кладезя марксизма большинство нашей группы молодых студентов получили от обладавшего достаточной по тому времени марксистской эрудицией присяжного поверенного М.Л. Мандельштама (потом левый кадет в Москве)”».

Но Мандельштам тут же самокритично добавляет: «Ленин был прав, назвав мои лекции “мутными”. Не говоря уже о том, что в то время русский марксизм был в зародыше, на моем марксизме не могла не отразиться еще идеология “Народной воли”... Мы не имели ни программы, ни руководителей, ни даже литературы. Мы должны были сами прокладывать себе путь»<sup>147</sup>.

Организационно Владимир не входил ни в кружок Четверговой, ни в кружок Мандельштама. Он продолжает заниматься самостоятельно, общаясь с теми, кто, подобно ему, осваивал марксистскую теорию. На этой почве складывается свой круг товарищей. И Анна Ильинична утверждает, что «в этом кружке руководителя не было: молодежь совершенно самостоятельно искала свою дорогу»<sup>148</sup>.

«Капитал» Владимир штудировал по русскому изданию 1872 года. «Нищету философии» с сестрой Ольгой читали на французском. Но более всего приходилось переводить Маркса и Энгельса с немецкого. Чтение отдельных работ не давало, однако, цельного представления о марксизме. И вот в ту же зиму 1888/89 г. ему попадает в руки программа, составленная Федосеевым.

Подобные программы являли собой в те годы особый и весьма почитаемый вид нелегального творчества революционеров. Их начали составлять еще народники. В систематизированном виде давались списки – зачастую довольно подробно аннотированные – по самым различным вопросам, в том числе по философии, политэкономии, истории, естествознанию, а также перечень художественной литературы; все это должно было способствовать выработке не только научного, но и социально-этического «цельного мировоззрения».

Марксистские программы такого рода пытались создать в те годы во многих городах – в Петербурге, Киеве, Тамбове, Челябинске. В Уфе ее писал ссыльный В.Н. Крохмаль. В Харькове – Ф.А. Липкин-Череванин. В Вологде – будущий философ Н.А. Бердяев<sup>149</sup>. Но в Поволжье наиболее известной стала «Казанская программа», составленная Н.Е. Федосеевым осенью 1888 года<sup>150</sup>.

А.М. Горький, посещавший федосеевский кружок и получивший эту программу от Николая Евграфовича, рассказывал Валентинову в 1915 году: «Каталог Федосеева был, на мой взгляд, кладезем премудрости, но я не интересовался тогда марксистской теорией, к тому же сей каталог мне был не по зубам. Я повертел его, перелистал... и отослал его обратно»<sup>151</sup>.

Но когда в 1908 году на Капри Горький рассказал об этом Ленину, тот ответил, что «лучшего пособия в то время никто бы не составил» и именно эта работа Федосеева, содержавшая, помимо Маркса и Энгельса, конспект основных изданий группы “Освобождение труда”», оказала ему «огромную услугу» и открыла «прямой путь к марксизму»<sup>152</sup>.

Если это так, то становится понятным, почему 17-летнего Федосеева Ленин всегда уважительно называл только по имени и отчеству, а в конце жизни – зимой 1922 года – написал, что «для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марк-

сизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливое и необыкновенно преданное своему делу революционера»<sup>153</sup>.

Радек, передавая слова Ленина, писал, что прочитанный до того «Капитал» Маркса открыл Владимиру «новый мир, но он не нашел там еще ответа на специально русские вопросы»<sup>154</sup>. Теперь издания группы «Освобождение труда», и прежде всего работы Плеханова «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», приблизили его к ответам и на эти вопросы. Читанное у Маркса постепенно как бы обретало российскую почву.

Остается добавить, что к разработке «Казанской программы» был, видимо, причастен еще один человек. «В 1888 году, – вспоминал М.Г. Григорьев, – все настойчивее среди молодежи начал проявляться в Казани интерес к имени Маркса, причем в связи с разговорами о марксистском направлении начали произносить не вполне конспиративно и имя Н.Е. Федосеева и очень конспиративно имя литератора и статистика П.Н. Скворцова»<sup>155</sup> – одного из пионеров российского марксизма, первым бросившего перчатку народничеству в легальной прессе.

В достаточно пестрой галерее марксистов этого поколения Павел Николаевич представлял собой фигуру достаточно яркую и колоритную. «Аскет, – пишет знавший его Горький, – он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о “сокращении потребностей” – питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день – не больше и не меньше... Он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливого, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным»<sup>156</sup>.

С марксизмом Скворцов познакомился под влиянием киевского профессора Н.И. Зиберы, воспринявшего экономическую теорию Маркса, но оставившего в тени его революционные выводы. Изучение «Капитала» стало буквально страстью Павла Николаевича. Он знал «чуть ли не наизусть целые страницы и мог часами составлять разные схемы, следуя за формулами, набросанными Марксом»<sup>157</sup>.

Именно он и помог Федосееву в более углубленном изучении марксистской теории. Находясь под надзором полиции и работая статистиком в казанском, а затем нижегородском земстве, Павел Николаевич писал статьи для «Волжского вестника», «Казанского биржевого листка», в столичные издания, и его выводы о путях развития капитализма в России, о дифференциации российского крестьянства, наносившие удары по признанным столпам народничества, имели самый широкий резонанс, особенно в Поволжье. А когда в 1893 году Скворцов сумел переслать некоторые свои статьи Энгельсу, его авторитет в российской марксистской среде еще более возрос<sup>158</sup>.

Исследователь Г.Л. Бешкин, встречавшийся с Павлом Николаевичем в 1929 году, писал: «Чудачества Скворцова проистекали от того, что он постоянно вел жизнь «умственного пролетария»; перебиваясь изо дня в день случайной работой, заменяя нередко обеды табаком и прогулкой, он производил странное впечатление на сталкивавшихся с ним людей своими нигилистическими манерами, скромной, иногда небрежно напяленной рубахой, окруженный облаками табачного дыма, постоянно суетящийся над своими статистическими исследованиями... Он подходил к марксизму как к Евангелию, которое открыло истину»<sup>159</sup>.

В 1904 году, когда Ленин стал говорить молодым большевикам о том, что он «начал делаться марксистом после усвоения 1-го тома “Капитала” и “Наших разногласий” Плеханова», Валентинов спросил его: «Когда это было?» И услышал: «Могу вам точно ответить: в начале 1889 года, в январе»<sup>160</sup>.

Тогда, в Казани, ощущение постижения им «великой истины» глубоко волновало Владимира. «Помню, – рассказывает Анна Ильинична, – как по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать, он с большим жаром и воодушевлением рассказывал мне об основах теории Маркса и тех новых горизонтах, которые она открывала. Помню его, как сейчас, сидящим на устланной газетами плитке его комнаты и усиленно жестикулирующим. От него так и веяло бодрой верой, которая передавалась и собеседникам»<sup>161</sup>.

И это – не только «рациональное», но и «эмоциональное» чувство – осталось на всю жизнь. Зимой 1917 года Ленин напишет Инессе Арманд: «Я все еще “влюблен” в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно. Нет, это – настоящие люди! У них надо учиться. С этой почвы мы не должны сходить»<sup>162</sup>.

## Самара

Новые связи и контакты Владимира не остались незамеченными полицией. Негласный надзор усилился, и губернское жандармское управление зафиксировало его «знакомство с подозрительными лицами», а также с «личностями, замеченными в политической неблагонадежности». Отметили и его принадлежность к «марксистскому направлению».

Домой своих новых знакомых Владимир, как правило, не водил, догадываясь, что за ним следят. Да и мать не хотел беспокоить. Но она очень быстро поняла, что сыну вновь грозит опасность.

В январе 1889 года по доверенности, полученной от Ульяновых, жених Анны Ильиничны Марк Тимофеевич Елизаров покупает хутор близ деревни Алакаевки Богдановской волости Самарского уезда и губернии. За 83,5 десятины большей частью непахотной земли и мельницу, сдававшуюся в аренду местному крестьянину Алексею Евдокимову, прежнему владельцу хутора золотопромышленнику К.М. Серебрякову было уплачено 7 тысяч 500 рублей, то есть все деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске, и часть накоплений.

Совершая эту покупку, мать втайне надеялась, что в случае, если Владимиру так и не дадут возможности получить высшее образование, он вместе с Марком Тимофеевичем – урожденным крестьянином – увлечется ведением хозяйства и это станет не только подспорьем в семейном бюджете, но и отвлечет от «нежелательных знакомств».

Впрочем, в апреле 1889 года Мария Александровна вновь предпринимает попытку добиться разрешения на выезд Владимира за границу для продолжения учебы. Он проходит медицинское обследование и 29 апреля получает справку, подписанную профессором Казанского университета Николаем Ивановичем Котовщиковым, о том, что страдает болезнью желудка и нуждается в лечении щелочными водами за границей. Соответствующее прошение о выдаче загранпаспорта подается губернатору. И уже 14 июня следует категорический отказ: «Лечиться можно и на Кавказе».

Однако адресата он в Казани уже не застал. 3 мая семья Ульяновых уехала в Алакаевку. И, надо сказать, вовремя.

В мае в Казани начинаются обыски и аресты. А 13 июля в деревне Ключищи арестовывают Н.Е. Федосеева, потом еще нескольких «кружковцев», ходивших к М.П. Четверговой.

Николая Евграфовича более чем на двухлетний срок бросают в тюрьму. И позднее Ленин, не без основания, напишет: «Весной 1889 года я уехал в Самарскую губернию, где услышал в конце лета 1889 года об аресте Федосеева и других членов казанских кружков, – между прочим, и того, где я принимал участие. Думаю, что легко мог бы также быть арестован, если бы остался тем летом в Казани»<sup>163</sup>.

Но, уйдя от ареста, Владимир так и не избежал полицейского надзора. «4 минувшего мая, – сообщали самарские жандармы в Департамент полиции, – прибыла состоящая под гласным надзором полиции дочь действительного статского советника Анна Ульянова на хутор при

дер. Алакаевке... Вместе с ней прибыли ее мать, сестры Ольга и Марья, брат Владимир, состоящий под негласным надзором полиции, и бывший студент, сын крестьянина Марк Тимофеевич Елизаров, человек сомнительной политической благонадежности. У Ульяновых Елизаров состоит в качестве доверенного по делам и управляющего их хозяйством»<sup>164</sup>.

«Управляющим» Марк Тимофеевич, конечно, не был, но, как человек более опытный, он действительно взял на себя обустройство хутора. Тем более что именно в это время он стал полноправным членом семьи Ульяновых.

С Александром и Анной Ульяновыми Марк познакомился еще в Петербурге, в поволжском землячестве, когда учился в университете. В 1886 году, после его окончания он проработал год в столице, а в 1887-м вернулся в Самару, где поступил на службу в Казенную палату. Роман с Анной у него начался еще в Питере. И вот теперь решили сыграть свадьбу. 28 июля в соседнем селе Тростянки Владимир присутствовал при их венчании в качестве свидетеля.

Поначалу действительно занялись хозяйством. Купили лошадь Буланку, корову, посеяли пшеницу, гречиху, подсолнух. Но дело не заладилось. И причиной тому была крайняя нищета окрестных крестьян, оставшихся после отмены крепостного права с крошечными наделами, которые никак не могли прокормить их. Кстати сказать, жизнь и быт соседних деревень – Сколково, Заглядино и Гвардейцы – в известном рассказе «Три деревни» блистательно описал Глеб Успенский, гостивший в Сколково у Сибирякова. Точно так же жили и в Алакаевке, где на 34 двора приходилось лишь 65 десятин пахотной земли. Мизерными были и урожаи: в хорошие годы рожь – сам-4—5, а овес – сам-4<sup>165</sup>.

Эта беспросветная нужда неизбежно порождала конфликты вокруг аренды земли, тощая деревенская скотина нередко заходила на хуторские посевы, а судиться с крестьянами за потравы никому из Ульяновых ни малейшего удовольствия не доставляло. И позднее Владимир Ильич рассказывал Крупской: «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал было, да вижу, нельзя, отношения с крестьянами ненормальными становятся»<sup>166</sup>. А когда у Ульяновых украли корову, то решили, что с этим «фермерским опытом» надо кончать, и на следующий год сдали всю землю в аренду некоему Крушвицу.

Вот так на протяжении последующих четырех лет Алакаевка и стала для Ульяновых постоянной и любимой «летней резиденцией». Преобладающим элементом здешнего ландшафта была степь. Но именно под Алакаевкой начинался так называемый Муравельный лес, где было много дикой малины. А дальше – Гремячий лес, где можно было и поохотиться.

Жили в старом одноэтажном деревянном доме, к которому примыкал густой и запущенный сад, обрывом спускавшийся к ручью. Минутах в десяти от дома, у мельницы, был пруд, куда ходили купаться.

В саду у каждого был свой уголок. «Олин клен», говорили Ульяновы, и верно – у старого клена, обычно с книгой, можно было застать Ольгу. Анна больше любила березовую аллею. В тени старых лип устроил свой «кабинет» Владимир: врыли в землю дощатый стол, скамейку, соорудили турник. Здесь он проводил время за книгами: до обеда читал университетские курсы, после – политическую литературу или беллетристику. Именно тогда у него появилась привычка ходить во время работы, обдумывая прочитанное, и очень скоро он протоптал в своем «кабинете» дорожку в 10–15 шагов.

Вечерами на крыльце ставили самовар, зажигали керосиновую лампу и либо читали – иногда вслух, – либо пели. Особой популярностью пользовались романсы. Например, «У тебя есть прелестные глазки» на слова Гейне или «Свадьба» Даргомыжского, которые под аккомпанемент Ольги пел Владимир. А иногда дуэтом они пели «Нелюдимо наше море...» Языкова. Нередко складывался и общий семейный хор, где тон задавал Марк Елизаров<sup>167</sup>.

Мария Александровна радовалась, что все так ладно и спокойно и что Владимир, несмотря на все отказы, столь серьезно относится к будущим университетским экзаменам.

Но надежды матери на то, что переезд в самарскую глушь оградит и Анну, и Владимира от «нежелательных знакомств», не оправдались. Алакаевка давно уже была «засвечена» полицией, ибо золотопромышленник Серебряков славился не только своими деньгами, причудами, но и связями с революционными кругами, которым он время от времени оказывал и материальную помощь.

В середине 70-х годов он решил опробовать в Самарской губернии самые современные европейские способы ведения сельского хозяйства и для этого выписал из-за границы английские паровые плуги, сеялки, молотилки и другой инвентарь. Сюда потянулись студенты-колонисты, особенно из числа поднадзорных, желавшие «сесть на землю». Но в этой, одной из самых бедных тогда российских губерний и у Серебрякова дело не пошло. Паровые плуги ржавели по оврагам, а землю он стал распродавать.

Алакаевку купили Ульяновы, а рядом – в трех верстах – на хуторе Шарнель в 100 десятин земли поселилась студенческая коммуна, описанная в 1890 году Петропавловским-Карониным в журнале «Русская мысль» под названием «Борская колония».

Бывший студент Казанского университета, изгнанный из него за участие в беспорядках, Дмитрий Гончаров, земляк Ульяновых, хорошо знавший Илью Николаевича, стал заходить к ним в гости. Он же познакомил с Владимиром и одного из «коммунаров» – народника Алексея Преображенского. А когда 5 сентября Ульяновы переезжают из Алакаевки в Самару, количество такого рода знакомых начинает расти буквально с каждым днем.

Так уж случилось, что Самара была излюбленным местом высылки и поселения после отбытия наказания многих видных народников. Здесь в это время жили такие ветераны движения, как Иван Красноперов, пытавшийся поднять крестьянское восстание в Казанской губернии в 1863 году; Николай Долгов, осужденный по «нечаевскому делу» в 1871-м; Василий Филдельфов и Александр Ливанов, привлекавшиеся по известному «процессу 193-х» в 1878-м; Григорий Клеменц, проходивший по «делу 1 марта 1881 года»; Мария Голубева-Яснева, входившая в группу «якобинцев» П. Зайчневского. Было здесь много и народнической молодежи, студентов, высланных за участие в беспорядках.

Появление в Самаре Ульяновых вызвало в этой среде всеобщее сочувственное внимание. А.И. Самойлов, вполне либеральный земский начальник, познакомившись с Анной и Владимиром, писал, что они сразу же произвели большое впечатление, и, «может быть, это впечатление усиливалось и тем ореолом мученичества, который среди интеллигенции того времени окружал казненного незадолго перед тем А.И. Ульянова и естественно распространился и на его семью».

С ветеранами, прошедшими через тюрьмы и каторгу, отношения сложились самые добрые. К Красноперову Владимир заходил в губернскую земскую управу, чтобы побеседовать о статистических обследованиях крестьянского и помещичьего землевладения. К Ливанову – на чашку кофе или какао, которые по особому рецепту готовила его супруга Виктория Юлиановна. Долгов сам заходил к Ульяновым поиграть в шахматы. И когда в Самару выслали Марию Голубеву, он долго объяснял ей, что Владимир Ульянов – истинный демократ «и в одежде, и в обращении, и в разговорах, ну, словом, во всем».

Владимир слушал их рассказы о народниках и народовольцах, о приемах революционной борьбы и методах конспирации, о судебных процессах и условиях тюремного сидения. А когда они начинали ворчать на «марксист», обвиняя их в искусственной пересадке «европейского учения» на российскую почву, Ульянов отвечал, стараясь не обидеть «стариков».

Их действительно можно было пожалеть. Именно в это время моральный авторитет старого народничества был изрядно поколеблен. В 1888 году один из лидеров «Народной воли», член ее Исполкома, соратник Желябова и Перовской, главный редактор «Вестника Народной воли» Лев Александрович Тихомиров подал на высочайшее имя прошение о помиловании и выпустил в Париже брошюру «Почему я перестал быть революционером».



В литературе, принадлежащей перу ренегатов, эта брошюра по казуистике и в то же время банальности аргументации занимает виднейшее место. Сегодня она читается с особым интересом... В общем, не захват власти, а приобщение к власти, сотрудничество с ней способно принести благо народу – эта, как выражался Салтыков-Щедрин, «премудрость вяленой воблы» и стала главной идеей, сформулированной Тихомировым.

Ответил ему Г.В. Плеханов. В 1889 году он опубликовал статью «Новый защитник самодержавия, или Горе г. Л. Тихомирова». Пример Тихомирова, писал Плеханов, «останется классическим примером человека, который не столько *изменил свои убеждения*, сколько *изменил своим убеждениям*». Он старается доказать, что «был революционером лишь по вине других, лишь благодаря тому, что все наши образованные люди отличаются крайне нелепыми привычками мысли, а перестал быть революционером г. Тихомиров благодаря выдающимся особенностям своего “созидательного” ума и замечательной глубине своего патриотизма... В жалобах г. Тихомирова на неприятности, пережитые им от революционеров по поводу его “эволюции”, сквозит гордое сознание своего превосходства. Он умнее других... Но г. Тихомиров жестоко ошибается. Своей “эволюцией” он обязан лишь своей *неразвитости*. Горе от ума не его горе. Его горе есть *горе от невежества*»<sup>168</sup>.

В демократической среде вся эта история наделала много шума. Спорили до хрипоты и до драк. И главным оставался все тот же вопрос – о «захвате власти».

Уже упоминавшаяся Мария Петровна Голубева была старше Владимира почти на 10 лет и вступила в революционное движение еще в 1881 году. После знакомства они подружились, стали встречаться довольно часто и у Ульяновых, и у нее. И Мария Петровна решила «обратить его в яacobинскую веру». Но «Владимир Ильич спокойно и уверенно развивал свою точку зрения, чуть-чуть насмешливо, но нисколько не обидно опровергал меня. Часто и много мы с ним толковали о «захвате власти» – ведь это была излюбленная тема у нас, яacobинцев. Насколько я помню, Владимир Ильич не оспаривал ни возможности, ни желательности захвата власти, он только никак не мог понять – на какой такой «народ» мы думаем опираться, и начинал пространно разъяснять, что народ не есть нечто цельное и однородное, что народ состоит из классов с различными интересами и т. п.»<sup>169</sup>.

Судя по всему, шутками не ограничилось, ибо в работе, начатой Ульяновым в Самаре как раз в эти годы, он написал, что среди российских революционеров были и те, кто вел борьбу с правительством «во имя социализма, опираясь на теорию, что народ готов для социализма и что простым захватом власти можно будет совершить не политическую только, а и социальную революцию. В последнее время, – заключал Владимир Ильич, – эта теория, видимо, утрачивает уже всякий кредит»<sup>170</sup>.

Кончилось тем, что со временем не Голубева Ульянова, а он ее «обратил в свою веру».

«Старики» ворчали на молодежь и по-своему были правы. Молодежь действительно была уже «не та». Самарец Матвей Семенов, бывший студент Петровской сельхозакадемии, уже имевший за плечами опыт «хождения в народ», арест и ссылку, писал, что в конце 80-х годов народничество уже «не вызывало энтузиазма в своих адептах». О том же писал и Алексей Преображенский: «К этому времени я уже успел в достаточной степени разочароваться в прирожденной преданности крестьянства коммунистическим идеям и, сколько могу судить, относился к крестьянству без иллюзий и предрассудков». И фраза Семенова о «смутном чувстве неудовлетворенности» и о том, что они «в сущности были на распутье», довольно точно характеризовала настроения радикальной молодежи.

С ее самарскими лидерами Владимир Ильич познакомился сразу же после приезда из Алакаевки. Первым был Вадим Андреевич Ионов – приятель Марка Елизарова. Он был старше Владимира Ильича, считался народовольцем, но более всего интересовался вопросами разви-

тия капитализма в России. Жил он в основном в Сызрани, но часто наезжал в Самару и пользовался среди здешней молодежи большим авторитетом.

Сблизился Ульянов и с другим приятелем Елизарова – Алексеем Павловичем Скляренко (Поповым). Был он одноклассником Владимира Ильича, но уже успел отбыть годичное заключение в московских Бутырках и питерских Крестах. «Он для нас, юнцов, – писал Дмитрий Ульянов, – был окружен какой-то особой таинственностью», и его кружок охотно посещали гимназисты, семинаристы, ученицы фельдшерской школы. Импонировала даже его внешность: высокий, сильный, в студенческой фуражке на затылке, косоворотке, темных пенсне, криво сидевших на его носу, с неразлучной суковатой палкой в руках – Алексей имел вид типичного «нигилиста» старых времен.

Познакомился Владимир Ильич и с сыном генерал-майора Аполлоном Александровичем Шухтом. Бывший воспитанник Царскосельской гимназии, затем Николаевского кавалерийского училища, а позднее – строительного училища, Аполлон оказался косвенно причастен к делу Александра Ульянова, и его выслали в Западную Сибирь на три года, а потом – под надзор – в Самару.

Среди новых знакомых Владимира Ильича был и Вильгельм Адольфович Бухгольц, прусский подданный, отец которого служил в Самаре на железной дороге. В свое время он учился в Самарской гимназии, а затем в Петербургском университете вместе с Марком Елизаровым, но в 1887 году был выслан из столицы за участие в студенческих беспорядках. Сюда же выслали и еще одного знакомого – Викентия Викентьевича Савицкого, исключенного из Казанского университета одновременно с Владимиром Ильичом<sup>171</sup>.

Через Скляренко познакомился он с ученицами фельдшерской школы Марией Лебедевой и Аней Лукашевич. И если первая, приехав из сибирской глуши, лишь в Самаре узнала о «политике» и «политиках», то вторая уже имела опыт подпольных кружков в Вильно<sup>172</sup>.

Среди молодых людей, привлеченных Скляренко, были и дети весьма состоятельных самарских купцов, такие как бывший студент Московского университета А.Г. Курлин и студент Петровской академии А.И. Ерамасов. Александр Курлин давал свою квартиру для проведения собраний и вечеринок, но, когда спустя годы вступил во владение миллионами, «на революцию», как выражались тогда, не дал ни копейки. Стал известным кутилой и слегка либеральным председателем Самарского биржевого комитета. А вот с Алексеем Ерамасовым связь сохранилась на всю жизнь<sup>173</sup>.

Были среди знакомых Владимира Ульянова и те, кто к «марксистам» вообще не имел никакого отношения. Например, художник Ф.Е. Буров, к которому Владимир заходил и в мастерскую, и на выставки<sup>174</sup>. Часто – по четвергам или пятницам – бывал он и у уже упоминавшегося старого знакомого Ульяновых, первоклассного шахматиста, присяжного поверенного Андрея Николаевича Хардина, принимал участие в организованных им шахматных турнирах<sup>175</sup>. Заглядывал Ульянов и на студенческие вечеринки на квартире зубного врача А.А. Кацнельсон, где в обязательном порядке танцевали «всеобщую, прямую и явную кадрили».

Впрочем, шумных студенческих сборищ (не только с танцами, но и с бесконечным «трепом» на политические темы) он избегал, ибо заканчивались они, как правило, пьянками. А уже в эти годы у него стала проявляться вполне определенная черта, о которой Матвей Семенов написал: «Владимиру Ильичу была чужда еще в молодости всякая богема, интеллигентская распушенность, и в его присутствии мы все, входившие в кружок, как бы подтягивались... Фривольный разговор, грубая шутка в его присутствии были невозможны».

О характере этого кружка Вильгельм Бухгольц писал: «Так как эти собрания не созывались для какой-либо определенной революционной цели, то их, соответственно, нельзя называть собраниями “революционного кружка”. Скорее это был типичный для того времени кружок “саморазвития”. Подавляющее большинство его участников еще недавно причисляли

себя к убежденным народникам, и даже Скляренко считался «отчаянным вевистом», то есть поклонником В. Воронцова. И вот теперь, шаг за шагом, они осваивали новую теорию, которая, как им казалось, укажет «верный путь».

По сравнению с остальными, Владимир Ульянов был уже более «зрелым» марксистом. Но, как писал тот же Бухгольц, он «не производил впечатления товарища, желающего играть роль вожака или вообще чем-либо выделяться из рядовых товарищей. Верно и то, что он не пытался себя как марксист противопоставлять другим».

Новые друзья стали более или менее регулярно встречаться, обсуждать интересующие их проблемы, новые книги. Поначалу решили заниматься по уже известной нам «казанской программе». Начиналась она с ознакомления с этикой. И вот весной 1890 года на одной из встреч, которая происходила в лодке на реке Самарке, заслушали доклад Бухгольца «Основы этического учения о благах». Между ним и Владимиром Ильичом произошел спор: существует ли «абсолютное благо» на все случаи жизни и на все времена? – вот вопрос, который поставил Ульянов. И продемонстрированный им диалектический метод анализа, казалось бы, общеизвестных понятий произвел на всех большое впечатление.

Чаще всего собирались на квартире Скляренко, которую он снимал вместе с фельдшершей Марией Лебедевой. Ходили и в Струковский сад, где у «марксят» была своя особая скамейка. Впрочем, Скляренко, которого прозвали «доктором пивоведения», любил затащить друзей и в знаменитый павильон Жигулевского пивоваренного завода, живописно расположенный на крутом берегу Волги. «Посетители там были необычайно разнообразные, и было что посмотреть: и купец, и хлебный маклер, и крючник, и масленщик, и матрос с парохода, и мелкий торговец, и какой-нибудь служащий земской управы, и ломовой извозчик, и компания чиновников, и разночинец-интеллигент, и самарский хулиган-“горчишник” – бесконечный kaleidoscope разнообразных по своему положению людей»<sup>176</sup>.

А вечером на спусках к реке зажигались костры – это бурлаки, грузчики, мельничные рабочие, прихватив «полдиковинную» (полбутылки водки), ужинали арбузами, воблой или варили уху. «К такой компании рабочих, – вспоминал Матвей Семенов, – можно было подсесть и чужому прохожему человеку и завести разговор»<sup>177</sup>.

Однажды Владимир так и поступил. ... Передавая воспоминания Владимира Ильича, Карл Радек со свойственным ему юмором писал: «Познакомился он с каким-то чернорабочим, которого начал пропагандировать. Чернорабочий выпивал немножко, был сентиментален и с большим удовольствием прислушивался к рассказу Ильича о политике, эксплуатации и угнетении. Владимир Ильич привел его на квартиру, чтобы ему прочесть одну брошюру. Попили чайку, Ильич читал брошюру и за каким-то делом вышел в другую комнату. Когда вернулся, не нашел уже объекта своей пропаганды. Не успел он задуматься над этим неожиданным результатом своего хождения в народ, как заметил, что вместе с униженным и оскорбленным исчезло его пальто»<sup>178</sup>.

28 октября 1889 года – в который уже раз! – Владимир пишет министру просвещения И.Д. Делянову. Он опять просит разрешить сдавать экстерном экзамены при любом российском высшем учебном заведении, ибо, «крайне нуждаясь в каком-либо занятии, которое дало бы мне возможность поддерживать своим трудом семью», «я имел полную возможность убедиться в громадной трудности, если не в невозможности найти занятие человеку, не получившему специального образования».

Министр направил запрос в Департамент полиции и от его директора П. Дурново получил ответ: «Замечался в сношениях с лицами политически неблагонадежными». Сделав на письме Ульянова пометку «Он скверный человек», Делянов отклонил прошение, и в конце декабря 1889 года Самарское полицейское управление вручило отказ Владимиру<sup>179</sup>.

Тогда Мария Александровна решается на отчаянный шаг. В мае 1890 года она едет в Петербург, где подает прошение в Департамент полиции и добивается приема у министра просвещения. Что она говорила Делянову? Сохранилось ее письмо, написанное ему 17 мая в Петербурге:

«Мучительно больно смотреть на сына, как бесплодно уходят самые лучшие его годы... Я тем настойчивее прошу Ваше Сиятельство снять с моего сына так долго уже лежащую на нем кару, что кара эта, вообще, не позволяет ему как человеку, принадлежащему к кругу исключительно интеллектуальных работников, найти какое бы то ни было даже частное занятие. Такое бесцельное существование без всякого дела не может не оказывать самого пагубного нравственного влияния на молодого человека, – почти неизбежно должно наталкивать его на мысль даже о самоубийстве. Я, говоря иначе, прошу именно о сохранении мне жизни сына».

И вот 19 мая Делянов пишет резолюцию: «Можно допустить к экзамену в Университетской комиссии». А в конце июля приходит и разрешение на сдачу экзаменов экстерном при Петербургском университете<sup>180</sup>.

Уже в августе 1890 года вместе с сестрой Ольгой Владимир едет в Петербург. Ольга поступает на Высшие Бестужевские женские курсы, а Владимир наводит справки о порядке сдачи экзаменов. Именно тогда Ольга и знакомит его с Василием Водовозовым – сыном известной писательницы Е.Н. Водовозовой. В свое время он был знаком с Александром и Анной Ульяновыми, в 1887 году его выслали в Шенкурск, и теперь он приехал в Питер тоже для сдачи экзаменов экстерном.

«Нужные справки, – пишет Водовозов, – я, конечно, дал и даже провел Вл. Ульянова на экзамен, который мы тогда сдавали. Там была большая толпа – человек около 400, – Ульянов затерялся в ней и просидел несколько часов, прислушиваясь и присматриваясь»<sup>181</sup>.

Сдача экзаменов экстерном представляла немалые трудности. Помимо того что среди данного контингента было достаточно много «неблагонадежных», профессура опасалась и слишком поверхностных знаний. Михаил Цвибак, изучавший этот вопрос, писал: «К ним и профессора относились с особым недоверием и предубеждением, спрашивая и пытая гораздо серьезнее, чем студентов, кроме того, экстерны не могли знать хорошо местных условий, и им для одинакового со студентами ответа надлежало проделать гораздо большую работу, чем студентам. Экстернам редко-редко удавалось получать при сдаче хорошие отметки».

И вот 4 апреля 1891 года, сдав предварительное письменное сочинение по уголовному праву и уплатив 20 рублей в пользу испытательной комиссии, Владимир Ульянов является на экзамен по истории русского права. Билет: положение холопов обельных по «Русской Правде» и холопов всех категорий московского времени. Оценка ответа: «весьма удовлетворительно», то есть высший балл. На следующий день – экзамен по государственному праву: сословные учреждения дворянства и крестьянское самоуправление. И опять высшая оценка. «Экзамены оказываются очень легкими... Обедать он ходит каждый день...» – писала 8 апреля Ольга Ульянова, успокаивая мать.

10 апреля – политическая экономия и статистика. Вопросы: о формах заработной платы и о германском статистике и государственном праве Конринге. Через неделю – экзамен по энциклопедии и истории философии права. Вопрос: сочинения Платона о законах. 24 апреля – история римского права. Вопрос: законы, издаваемые выборными властями. И по каждому из этих предметов вновь высший балл. На этом весенняя сессия заканчивается.

Одновременно очередные экзамены по алгебре, геометрии, химии и физике сдает на Высших Бестужевских курсах сестра Ольга. В свободные часы они вместе гуляют по столице. Весна в том году припозднилась, и они ходят на набережную Невы смотреть ледоход, делятся планами на лето. После экзаменов Ольга с подругой тоже собиралась в Алакаевку...

Но в конце апреля она совершенно неожиданно заболевает брюшным тифом. Поначалу врачи обещают вполне благополучный исход, но тиф осложняется рожей. Владимир немед-

ленно вызывает из Самары мать. И 8 мая, спустя четыре года после казни брата – день в день – на руках у Марии Александровны и Владимира Ольга умирает.

10 мая, «в ветреный и сырой питерский день», ее хоронили.

«Я осторожно вела под руку мать Оли, – вспоминала Зинаида Невзорова-Кржижановская. – С другой стороны ее поддерживал Владимир Ильич... Невыносимо было хоронить Олю, чудесную 19-летнюю девушку, умницу, только что развертывавшую свои блестящие способности, милого товарища, так нелепо погибшего. Невыносимо было видеть ее мать, молчаливо идущую за ее гробом. Я знала, что один за другим падали удары на ее прекрасную седую голову: смерть мужа, страшная гибель старшего сына Александра и теперь неожиданная смерть дочери. Слишком много для одного человека. А она шла тихая, молчаливая, натянутая, как струна, крепко сжав губы. И мы все молчали».

Пройдет около 9 лет, и в один из драматических моментов своей жизни, когда чуть было не прервались отношения с Плехановым, Ленин напишет: «Мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты. Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека]. До такой степени тяжело было, что, ей-богу, временами мне казалось, что я расплачусь. Когда идешь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния». Такого не напишешь, не пережив всю боль и горечь безвременной утраты близкого человека.

Новая сессия экзаменов началась в сентябре. После письменного сочинения на тему из области права первым устным экзаменом было уголовное право. Владимиру достались вопросы: о защите в уголовном процессе и о краже документов. Следующий экзамен – по догме римского права. Вопросы: о дарении, отношениях, из него вытекающих, и о влиянии времени на происхождение и прекращение прав.

В октябре – третий и четвертый экзамены: по гражданскому и торговому праву вместе с судопроизводством. Вопросы: об исполнении, купле-продаже, поставке, то есть о видах передаточных договоров и о торговых книгах. Пятый и шестой экзамены – по полицейскому и финансовому праву. Вопросы, соответственно, о науке полиции и ее содержании и о государственном бюджете и его составлении и исполнении.

В ноябре – два последних экзамена: по церковному и международному праву. Вопросы: об истории русского церковного законодательства и о праве нейтралитета. За сочинение и все устные экзамены этой сессии Владимир вновь получил высшие оценки и из 134 экзаменовавшихся кончил первым в выпуске.

15 ноября 1891 года юридическая Испытательная комиссия С.-Петербургского университета присудила В.И. Ульянову диплом первой степени, соответствующий прежней степени кандидата прав<sup>182</sup>.

## Голод

В 1891 году в России начался голод. И хотя он охватил лишь 17 губерний Поволжья и Черноземного центра с населением около 30 миллионов человек, голод стал проявлением глубокого общенационального кризиса, сравнимого по значению разве что с поражением в Крымской войне<sup>183</sup>.

Сбор хлебов оказался в этом году наполовину ниже, чем в предшествующие – тоже весьма скудные – годы. А поскольку недород совпал с полным истощением крестьянского хозяйства, страдавшего от безземелья, кабальной аренды, непосильных налогов и выкупных платежей, голод стал следствием не столько погодных условий, сколько социально-экономических процессов, происходивших в российской деревне после 1861 года.

Продовольственная ситуация, ставшая вполне очевидной уже в начале лета 1891 года, требовала энергичных правительственных мер. Но чуть ли не до осени бюрократия делала все для того, чтобы замолчать и приуменьшить народное бедствие. Предложение министра внутренних дел И.Н. Дурново об ограничении свободной торговли зерном и вывоза его за границу, а также о срочном создании единого правительственного органа по закупке хлеба было Советом министров отвергнуто, дабы не ущемлять интересов экспортеров – господ помещиков<sup>184</sup>. А сам Александр III категорически заявил: «У меня нет голодающих, а есть только пострадавшие от неурожая!» Голод как бы перешел на нелегальное положение. И в ходу была крылатая фраза: «Неурожай от Бога, а голод – от Царя!»<sup>185</sup>

А между тем с мест поступали самые тревожные вести. Священник Бузулукского уезда Самарской губернии писал в епархиальный комитет, что «во вверенном ему приходе голод уже достиг крайних пределов. В августе население питалось остатками от скудного урожая. В начале сентября распродали за бесценок домашний скот, чтобы прокормиться. С половины сентября – есть буквально нечего. Изнуренные голодом люди с утра до вечера бродят из дома в дом, выпрашивая милостыню, и возвращаются к своим семействам с пустыми сумами: милостыни уже никто не подает». Из Рязанской губернии сообщали о том же: «Едят лебеду вместо хлеба, но и лебеда уже к концу, а впереди почти год, страшный, голодный, холодный. Ни картофеля, ни капусты, ни огурцов; скотину кормить нечем, топить тоже нечем, нет ни мякины, ни соломы, даже побираться идти некуда... Положение безвыходное... “Лучше смерть”, – говорят многие»<sup>186</sup>.

Лишь когда катастрофа стала фактом, вывоз хлеба за границу был запрещен, а все дело продовольственной помощи голодающим губерниям правительство передало земствам на места, где не было ни достаточных средств, ни зерновых запасов. Пострадавшему населению решили помогать двумя способами: нетрудоспособным по младенчеству или по старости выдавать, по мере возможности, ссуду хлебом, а трудоспособным – от 15 до 55 лет – кормиться за счет заработка на общественных работах, организуемых губернаторами.

Однако в результате бездарной организации дела и прямого казнокрадства общественные работы, на которые из казначейства было отпущено 10 млн рублей, цели не достигали. В той же Самарской губернии голодных и обессиленных крестьян заставляли своим инструментом рыть канавы, засыпать овраги и строить грунтовые дороги. Делалось это без всякого продуманного плана. По утрам часами стояли они у дома губернатора или у квартиры руководителя работ инженера Перцева в ожидании наряда, а вечером – ради получения денег. Заработок же составлял в лучшем случае лишь 10–15 копеек в день – вдвое меньше, чем платили за ту же работу обычным землекопам<sup>187</sup>.

В конечном счете из ассигнованных всем голодающим губерниям 10 млн рублей до крестьян в виде заработной платы дошло менее трети отпущенной суммы<sup>188</sup>. Остальные деньги осели в карманах чиновников и подрядчиков.

Столь же плачевно завершилась и история с выдачей продовольственных ссуд. По предварительным оценкам, для серьезной помощи голодающим требовалось около 300 млн рублей. Правительство ассигновало 48 млн, но до зимы отпустило лишь 20. Поэтому на закупку хлеба земства получили минимум: нижегородское земство испрашивало ссуду в 8,2 млн, а получило 2,8; саратовское – вместо 9,5 млн – 2,5; самарское просило 9,8 млн, а дали 4,4 и т. д.<sup>189</sup>

А дальше – дальше началась обычная российская история. Получив ссуду, расторопные земцы передали закупки продовольствия спекулянтам-хлеботорговцам. В той же Самаре они втридорога переплатили купцу Шихобалову почти 1,5 млн рублей за 12 тысяч пудов порченой муки, оказавшейся непригодной для выпечки хлеба. С оставшимися миллионами – для закупки хлеба в южных губерниях – направили члена губернской управы Дементьева. После

двухмесячного пребывания на юге он зерно доставил, но опять-таки, как писал «Волжский вестник», с солидной (до 30 %) примесью сорняков, «песку и даже мелких камешков»<sup>190</sup>.

Нечто подобное происходило и в других губерниях. Так что помощь оказалась весьма недостаточной. Даже в апреле 1892 года, когда выдача ссуд приобрела наибольший размах, их получили лишь 11,8 млн человек, то есть около трети пострадавшего населения<sup>191</sup>. И это притом, что размеры ссуды никак не спасали от голодной смерти. Дело доходило до того, что в той же Самарской губернии на нетрудоспособного едока выдавали от одного пуда до 10 фунтов и даже до 3,5 фунта в месяц, или по 14,5 золотника в день<sup>192</sup>. И если смертность во всех пострадавших губерниях в 1891–1892 годах увеличилась в среднем на 28 %, то в Самарской она возросла на 56 %<sup>193</sup>. От еще более худшего уберег транспорт муки, прибывший в губернию весной 1892 года из Америки, и финансовая помощь английских квакеров, которых привезли в Самару граф П.А. Гейден и князья Петр и Павел Долгоруковы<sup>194</sup>.

И все это нисколько не мешало сердобольным земским чиновникам щедро вознаграждать друг друга за усердие. «Волжский вестник» сообщал: «Слободскому председателю уездного съезда г. Рассохину земское собрание определило выдать 750 руб. на разъезды, на экипаж и шубу, глазовскому – г. Ку-рептеву на те же предметы – 60 руб., вятскому председателю г. Шубину назначено заимообразно 300 руб. Саратовское уездное земское собрание назначило председателю своей управы г. Абакумову 3000 руб. в виде “награды”. Нашли люди время для наградных подношений! На 3000 руб. 2,5 тыс. пудов хлеба купить бы можно. Аткарское земство назначило 1200 руб. пенсии бывшему мировому судье, а теперь земскому начальнику г. Гордеру, богатому землевладельцу, получающему, кроме того, по новой должности более 2000 руб. в год. Камышинское земство, самое бедное, постановило выдать 3000 руб. награды председателю своей управы г. Ляух».

Прав был Плеханов, когда писал: «Эти ссуды, урезанные до нескольких золотников на едока; эта мука, негодная в пищу; эти “тридцать процентов сору”, перевозимые на земский счет с одного конца России на другой; эти шубы, эти экипажи, эти награды, пенсии и займы, раздаваемые земцами друг другу, – все это есть самое бессердечное, самое бесстыдное издевательство над голодными, соединенное с самым недвусмысленным хищничеством. Недостаточно устранить таких людей от заведования общественными делами, их нужно было бы, по выражению Петра Великого, весьма лишить живота».

Даже если отойти от столь эмоциональных оценок, неспособность бюрократического аппарата эффективно справиться с продовольственной проблемой была достаточно очевидной. Мало того, вся деятельность правительственных и земских продовольственных органов – в силу их коррумпированности – с самого начала довольно-таки дурно пахла. И трудно было сохранить порядочность и, как говорится, не испачкаться, сотрудничая с ними. Поэтому параллельно и как бы в противовес «официальной» помощи с лета 1891 года стала организовываться общественность.

Начало положил Лев Толстой, который – при всем своем неприятии благотворительности – стал создавать в Тульской губернии бесплатные столовые для голодающих. Поначалу правительство решительно выступило против общественности. Его поддержала и наиболее реакционная часть дворянства. Даже знаменитый лирический поэт Афанасий Фет – и тот заявил, что крестьяне не нуждаются в благотворительности, ибо «бедствуют единственно только по своей лени и склонности к пьянству». Но когда общественная помощь, несмотря на противодействие, приобрела достаточно широкий размах, Александр III 17 ноября 1891 года издал на имя своего сына и наследника рескрипт. В нем, во-первых, он публично признал сам факт «недорода хлебных произведений», а во-вторых, учредил «Особый комитет» для руководства всем делом общественной благотворительности во главе с будущим государем Николаем II<sup>195</sup>, который опирался прежде всего на губернаторов.

О событиях, происходивших в этой связи в Самаре, рассказывалось в воспоминаниях А.А. Белякова, М.П. Голубева, М.И. Семенова, написанных еще в 20-е годы. Однако в последнее время об этих мемуарах как бы забыли. И в новейших писаниях Волкогонова, Латышева и им подобных, а раньше – в зарубежных статьях Валентинова стали широко использоваться воспоминания В.В. Водовозова, опубликованные им в эмиграции в 1925 году.

Василий Васильевич Водовозов, о котором уже упоминалось в связи с поездкой Владимира Ульянова в Питер в августе 1890 года, прибыл в Самару осенью 1891 года. Рассказав в своих мемуарах о том, как был создан самарский комитет для помощи голодающим, он пишет: «Вл. Ульянов... резко и определенно выступил против кормления голодающих. Его позиция, насколько я ее сейчас вспоминаю, – а запомнил я ее хорошо, ибо мне приходилось не мало с ним о ней спорить, – сводилась к следующему: голод есть прямой результат определенного социального строя; пока этот строй существует, такие голодовки неизбежны; уничтожить их можно, лишь уничтожив этот строй. Будучи в этом смысле неизбежным, голод в настоящее время играет и роль прогрессивного фактора. Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создает пролетариат и содействует индустриализации края. Он заставит мужика задуматься над основами капиталистического строя, разобьет веру в царя и царизм и, следовательно, в свое время облегчит победу революции».

Тупое и бесчеловечное доктринерство, приписываемое Владимиру Ульянову, настолько, по известным причинам, устраивало упомянутых выше авторов, что – откинув все иные свидетельства – они приняли именно эту позицию за аксиому, логическим продолжением которой стала позднее, по их мнению, репрессивная политика советской власти по отношению к крестьянству. И поскольку это лживое утверждение получило достаточное распространение, стоит остановиться на мемуарах Водовозова несколько подробнее.

Итак, Водовозов пишет, что, прибыв осенью 1891 года из Архангельска в Самару, он сразу же сблизился с семьей Ульяновых. И уже в этом утверждении есть элемент неточности. Выше упоминалось, что в свое время в Питере он был знаком с Александром и Анной Ульяновыми. И незадолго до ареста Александра он дал ему для перевода статьи Маркса журнал «Немецко-французский ежегодник». Когда же Александра арестовали и над ним нависла смертельная опасность, у Василия Водовозова вырвалось лишь одно: «Как жаль, что такая ценная книга может теперь пропасть...» Об этой реплике в семье Ульяновых знали, и такое не забывается. Потому-то Мария Ильинична и подчеркивает, что в Самаре Водовозов «приходил больше к старшей сестре» Анне, с которой они «читали вместе по-итальянски».

«У этого Водовозова, – вспоминая самарские годы, писал Дмитрий Ильич Ульянов, – была большая библиотека, так что вся его комната до отказа была заставлена книжными шкафами, все книги были чистенькие, в новых переплетах. Он очень дорожил своей библиотекой, и казалось, что книги любил больше, чем живых людей. По своей начитанности он, вероятно, был первым в городе, но эта начитанность, очевидно, так давила на его мозг, что сам он не представлял из себя ничего оригинального. Он не был ни марксистом, ни народником, а так, какой-то ходячей энциклопедией».

Водовозов был старше Владимира Ильича, раньше него окончил университет, благодаря матери был лично знаком со многими знаменитостями, регулярно получал из-за границы революционную литературу, наконец, был сослан не куда-нибудь, а в далекий Шенкурск. И он вполне мог надеяться на то, что ему, а не таким провинциалам, как Ульянов или Скляренко, будут «смотреть в рот» симпатичные фельдшерицы, желторотые гимназисты и недоучившиеся студенты. Но, увы, этого не произошло.

Вспоминая о Водовозове, Мария Голубева пишет: «Это был чемодан, туго набитый книгами, но пользы от этого было мало кому. Мне как-то досадно было, что капитал пропадает даром, и я подбила однажды Водовозова выступить перед самарской молодежью с каким-то рефератом. Насколько мне помнится, он зимой на своей квартире сделал доклад о герман-



ской социал-демократии. На этом докладе был и Владимир Ильич. Он выступал как оппонент Водовозова... Особенных резкостей со стороны Владимира Ильича не помню, но помню, что Водовозов остался недоволен этим диспутом. На мой вопрос, почему он редко ходит к Ульяновым, ответил, что у них ему «скучно». И Владимир Ильич, по-моему, мало интересовался обществом Водовозова, ему тоже с Водовозовым было скучно»<sup>196</sup>.

Тогда же произошел и более серьезный конфликт. В связи с тем, что саратовский губернатор А.И. Косич, пользовавшийся репутацией либерала, был отправлен в отставку, Водовозов предложил поднести ему адрес от имени политических ссыльных Самары. Ульянов, для которого Косич являлся лишь одним из «российских помпадуров», «очень резко высказался против». И ссыльная молодежь поддержала его<sup>197</sup>. После этого Водовозов все более сближается с самарским либеральным обществом, становится завсегдатаем светских журфиксов, и, когда стал формироваться комитет помощи голодающим, Василий Васильевич вполне естественно оказывается в его составе.

И вот тут мы сразу сталкиваемся с одним весьма существенным умолчанием у тех авторов, которые использовали воспоминания Водовозова.

Дело в том, что злополучный самарский комитет помощи голодающим, о котором пишет Водовозов, не был общественной организацией того типа, которые с легкой руки Льва Львовича Толстого, подвергаясь различного рода гонениям, возникали полулегально и функционировали в противовес правительственным продовольственным органам. К такому типу в Самарской губернии принадлежали бесплатные столовые и пекарни, организованные Л.Л. Толстым, В.Г. Короленко, а также В.А. Оболенским и В.Д. Протопоповым, прибывшими сюда из Тульской губернии по приглашению графа А.А. Бобринского<sup>198</sup>. Комитет же, в котором сотрудничал Водовозов, фактически функционировал при губернаторе, как и многие другие, возникшие в связи с упомянутым выше рескриптом государя наследнику.

В состав комитета входили Степан Миклашевский, приятельствовавший с губернатором, часто бывавший у него дома и являвшийся, как пишет Водовозов, «посредником между комитетом и губернатором», протоиерей Лаврский, другие чиновники, «занимавшие высокие посты в местной служебной иерархии». Из мира «неблагонадежных» Водовозов называет лишь самарского гигиениста, доктора Вениамина Осиповича Португалова, Осипова и себя, привлеченного к работе в качестве юриста<sup>199</sup>.

Заметим также, что указанный комитет создавался не для безвозмездной помощи голодающим, а для обеспечения питанием «за умеренную цену» тех крестьян, которые были заняты на земляных работах, организованных губернатором.

«В этой столовой, – рассказывает Водовозов, – порция щей стоила 2 коп., порция хлеба 2 к., и порция чаю тоже 2 коп.»<sup>200</sup>. Если учесть, что за 12 часов ежедневных тяжелейших земляных работ крестьянин получал – да и то с большой задержкой – гривенник и то, что в деревне его ждала голодная семья, то эти 6 копеек превращались в сумму немалую. И это при том, что уполномоченные по организации работ, назначенные губернатором, сразу получили на бездокументальные расходы по 5 тыс. рублей, а всего за год – 180 тыс. рублей<sup>201</sup>. Так что трения между радикальной самарской молодежью и комитетом были неизбежны, ибо участие в нем так или иначе накладывало моральную ответственность за те аферы и махинации, которые имели место при проведении всех этих «общественных работ».

Когда 14 ноября 1891 года Владимир Ульянов вернулся из Петербурга в Самару, споры вокруг деятельности комитета развернулись уже вовсю. И хотя нечистоплотность чиновников была для всех очевидна, желание помочь голодающим привело к тому, что заседания комитета стали посещать многие из ссыльных. Причем не только те, кто работал в казенных учреждениях, вроде Красноперова или Долгова, но и другие бывшие народовольцы и землевольцы,

писатель Гарин-Михайловский, а также народническая молодежь, полагавшая, что работу в комитете можно использовать для революционной пропаганды среди крестьян<sup>202</sup>.

Заметим – убеждение в том, что голодные крестьяне являются прекрасным объектом для агитации, было распространено среди преимущественно городской народнической молодежи довольно широко. И об этом хорошо рассказал В.А. Оболенский. Но как только он сам соприкоснулся с голодными крестьянами Самарской губернии, выяснилось, что все это – сущие пустяки. «Мы хотели свою помощь, помощь общественную, – писал он, – противопоставить помощи правительственной, а нас принимали либо за царских приближенных генералов, либо за великих князей, а моего товарища Протопопова упорно считали самым наследником»<sup>203</sup>.

Так вот, у Владимира Ильича никаких заблуждений относительно использования голода для антиправительственной пропаганды не было. И Водовозов пишет об этом прямо: «Ленин не верил в успешность такой пропаганды среди голодающих. Это соображение играло большую роль в его отрицательном отношении к нашему комитету...»<sup>204</sup> Тут Василий Васильевич прав. Но он утверждал заведомую неправду, когда писал, что его спор с Владимиром Ильичом шел по поводу того – кормить или не кормить голодающих.

На то есть и прямое свидетельство самого Ульянова. Когда через восемь лет он начинает разрабатывать программу партии, в разделе об отношении к крестьянству напишет: «Социал-демократы не могут оставаться равнодушными зрителями голодания крестьянства и вымирания его голодной смертью. Насчет необходимости самой широкой помощи голодающим между русскими социал-демократами никогда не было двух мнений»<sup>205</sup>.

«Владимир Ильич, – пишет А.А. Беляков, – не меньше других революционеров страдал, мучился, ужасался, наблюдая кошмарные картины гибели людей и слушая рассказы очевидцев о том, что совершается в далеких, заброшенных деревнях, куда не доходила помощь и где вымирали почти все жители». И Беляков отвечал своему бывшему приятелю Водовозову: «Везде и всюду Владимир Ильич утверждал только одно, что в помощи голодающим не только революционеры, но и радикалы не должны выступать вместе с полицией, губернаторами, вместе с правительством – единственным виновником голода и “всероссийского разорения”, а против кормления голодающих никогда не высказывался, да и не мог высказываться»<sup>206</sup>.

Матвей Иванович Семенов рассказывает, что вопросы, связанные с взаимоотношениями с комитетом (комиссией) и работой в столовых, обсуждались во всех подпольных кружках. «Обсуждались они и в нашем кружке, причем Владимир Ильич, разъясняя смысл подобных организаций в условиях царского режима, резко высказывался против какого бы то ни было отождествления работы в этой комиссии с революционной деятельностью. Стычки по этому поводу у него были как с В.В. Водовозовым, так и с другими филантропами»<sup>207</sup>.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.